

Annals of the
American Republics

■ ***
■ ***

○ [Комментарии](#)

● [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Харчевня королевы Гусиные Лапы

Подлинная рукопись, написанная прекрасным почерком XVIII века, имеет подзаголовок: "Жизнь и суждения господина аббата Жерома Куаньяра". (Прим. издателя.)

Я решил поведать миру о тех примечательных встречах, что произошли на моем веку. Бывали встречи прекрасные, бывали и странные. Перебирая их в памяти, я и сам подчас сомневаюсь, уж не пригрезилось ли мне все это. Знал я одного кабалиста-гасконца; не скажу, чтобы он блистал особой мудростью, поскольку погиб столь нелепым образом, но однажды ночью на Лебязьем острове он вел со мной возвышенную беседу, смысл какой я, по счастью, удержал в памяти и озабочился занести на бумагу, Предметом его речей была магия и оккультные науки, к которым нынче весьма пристрастились. Только и слышно разговоров, что о розенкрейцерах^{[1][2]}. Не льщусь, однако ж, мыслью, что откровения гасконца послужат к моей славе. Одни скажут, будто все выдумал я сам и что учение это не истинное; другие же — что передаю я вещи давным-давно всем известные. Не скрою, сам я не слишком силен в кабалистике, ибо мой гасконец погиб, успев ввести меня лишь в преддверие ее тайн. Но даже то малое, что узнал я об этом искусстве, наводит меня на мысль, что все в нем лишь обман, заблуждение и суета. Впрочем, одно уж то, что магия противоречит религии, способно навеки отвратить меня от подобных занятий. Тем не менее, почитаю своим прямым долгом дать разъяснение по одному вопросу этой лженауки, дабы не прослыть в глазах людей еще большим невеждой, чем есть я на самом деле. Мне ведомо, что кабалисты обычно полагают, будто сильфы, саламандры, эльфы, гномы и гномиды рождаются на свет со смертной, как и тело их, душою, приобретают же они бессмертие лишь чрез общение с магами^[3]. Мой же кабалист, напротив того, учил, что жизнь вечная не может быть ничьим уделом, будь обиталищем живого существа земля или воздух. Я старался следовать ходу его мысли, воздерживаясь от какого-либо суждения.

Мой кабалист любил повторять, что эльфы умерщвляют каждого, кто раскроет их тайну, и приписывал кончину г-на аббата Куаньяра, убитого на Лионской дороге, мстительности этих духов. Я же прекрасно знаю, что смерть эта, которую никогда не перестану оплакивать, произошла в силу куда более естественных причин, и позволяю себе совершенно свободно толковать о духах воздуха и огня. Любого из нас подстерегают опасности в

жизни, эльфы же представляют опасность наименьшую.

С усердием собрал я суждения моего доброго учителя г-на аббата Жерома Куаньяра, о смерти коего уже упоминал выше. Был он человеком великой учености и благочестия. Если бы природа не наделила его столь беспокойной душой, он несомненно сравнялся бы в добродетели с г-ном аббатом Роленом^[4], которого превосходил как обширностью знаний, так и глубиной ума. Впрочем, полная тревожений жизнь дала ему еще и то неоспоримое преимущество перед г-ном Роленом, что он не впал в янсенизм. Ибо устои духа его были слишком прочны, и не могли их поколебать неистовые и предрезостные доктрины; я сам готов свидетельствовать перед богом о чистоте его верований. В общении с людьми самыми разнообразными почерпнул он знание света. Этот опыт весьма бы ему пригодился при написании истории римлян, чем он несомненно занялся бы по примеру г-на Ролена, если позволило бы время и если бы обстоятельства жизни более споспешествовали его дарованиям. То, что я расскажу об этом превосходнейшем человеке, послужит к украшению моих воспоминаний. И подобно Авлу Гелию, который отвел страницы своих «Аттических ночей» избранным речениям философов, подобно Апулею, который в своих «Метаморфозах» приводит чудесные сказания греков, задумал и я, подражая пчеле, собрать с ее упорством наитончайший мед. Никогда не осмелюсь притом тешить себя лестной мыслью о соперничестве с этими двумя великими мужами, ибо я черпаю свои богатства в житейских воспоминаниях, а не в усердном чтении. Моя лепта — в совершенной чистоте помыслов. Ежели кому придет охота прочесть мои записки, он признает, что одна лишь чистая душа могла излить себя в таких простых и незамысловатых словах. С кем бы я ни общался, я всегда слыл человеком бесхитростным, и писания мои лишь укрепят это мнение после того, как я покину земную юдоль.

* * *

Зовут меня Эльм-Лоран-Жак Менетрие. Отец мой Леонар Менетрие держал на улице св. Иакова харчевню под вывеской «Королева Гусиные Лапы»; королева эта, как известно, имела перепончатые лапки наподобие гуся или утки.

Наш навес возвышался как раз против церкви Бенедикта Увечного, между г-жой Жилль, — галантерейная лавочка «Три девственницы», — и г-ном Блезе, — книготорговля «Под образом св. Екатерины», — неподалеку от «Малютки Бахуса», чья решетка, увитая виноградными листьями, выходила на угол Канатной улицы. Батюшка весьма меня любил, и, когда после ужина меня укладывали в кровать, он, взяв мою ручонку, перебирал один за другим все пальцы, начиная с большого, и приговаривал:

— Этот по воду ходил, этот дрова носил, этот огонь разводил, этот кашку варил. А мизинчику не дали... Кашки, кашки, кашки, — прибавлял он, щекоча моим же мизинцем мою ладонь.

И громко смеялся. Я тоже смеялся, засыпая, и матушка уверяла, что еще поутру на губах моих играла улыбка.

Батюшка был не только отменный харчевник, но и человек богобоязненный. Поэтому-то в праздничные дни он носил цеховое знамя харчевников, на котором был искусно вышит святой Лаврентий со своим рашпером и золотой пальмовой ветвью. Отец мой часто говаривал:

— Жако, твоя матушка — святая и достойная женщина.

Эти слова он повторял при каждом удобном случае. И впрямь, матушка каждое воскресенье отправлялась в церковь, прихватив книгу, напечатанную крупным шрифтом. Ибо мелкие буквы она разбирала с трудом и жаловалась, что от них в глазах рябит. Каждый вечер батюшка часок-другой проводил в кабачке «Малютка Бахус», куда заглядывали также Жаннета-арфистка и Катрина-кружевница. И всякий раз, когда он возвращался домой, чуть запоздав против обычного, он, надевая на ночь полотняный колпак, умильно возглашал:

— Барб, почивайте с миром. Только что я говорил хромому ножовщику: моя супруга — святая и достойная женщина.

Мне минуло шесть лет, когда в один прекрасный день батюшка, обдернув свой передник, что служило у него признаком решимости, повел такую речь:

— Наш добрый пес Миро вращал вертел целых четырнадцать лет. Он

безупречно нес свою службу. Этот честный работяга ни разу не стащил даже кусочка индейки или гуся. И довольствовался он за свой труд одной наградой — разрешением вылизывать противни. Но он стареет. Лапы его не слушаются, глаза слепнут, и куда ж ему вращать вертел. Тебе, Жако, тебе, сынок, пора занять его место. Привычка и сообразительность помогут справиться с делом не хуже нашего Миро.

Миро слушал наш разговор и одобрительно вилял хвостом. А батюшка продолжал:

— Итак, ты будешь сидеть на этой скамеечке и вращать вертел. Но чтобы образовать свой ум, ты будешь твердить букварь, и когда со временем сможешь различать все печатные буквы, то выучишь наизусть какую-нибудь книжку, грамматику, или там притчи, или же прекрасные изречения из Ветхого и Нового Завета. Ибо познание господа и умение отличить добро от зла необходимо человеку, занятому даже рукоеслом, пусть нехитрым, но зато достойным, каковое есть мое ремесло, было ремеслом моего родителя и, если будет на то милость божья, станет и твоим.

С того самого дня, сидя от зари до зари в уголке у очага, я вращал вертел, держа на коленях открытый букварь. Один добрый капуцин с сумой за плечами, как-то заглянув в нашу харчевню в надежде получить подаяние, стал учить меня грамоте. В это занятие он вкладывал тем более охоты, что батюшка, почитавший науки, оплачивал уроки добрым куском индюшатины и полным стаканом вина; наконец брат капуцин, убедившись, что я достаточно бойко составляю слоги и даже целые слова, принес мне назидательное «Житие святой Маргариты» и стал учить меня по этой книге беглому чтению.

В один прекрасный день, положив по обыкновению свою котомку на прилавок, капуцин уселся рядом со мной, засунул босые ноги в теплый еще пепел очага и заставил меня в сотый раз повторить:

Дева чистая, святая,
При родах нам помогая,
Смилуйся над нами.

В эту самую минуту дверь распахнулась, и мужчина дородного телосложения, однако благородной осанки, в священническом облачении, переступил порог харчевни и зычно позвал:

— Эй, хозяин, подайте-ка мне кусок мяса, да посочнее!

Несмотря на седину, он, казалось, был полон сил и не стар годами. На губах его играла веселая улыбка, а взгляд был живой. Чуть отвислые щеки вместе с тройным подбородком величественно спускались до самых брыжей, которые из сочувствия ко всему прочему покрылись слоем жира, под стать шее, не вмещавшейся в воротнички.

Мой батюшка, который славился любезностью даже среди харчевников, стащил с головы колпак и, поклонившись, сказал:

— Ежели вы, ваше преподобие, соблаговолите погреться у камелька, через минуту-другую я подам все, что вы пожелаете.

Аббат не заставил себя просить и присел перед очагом рядом с моим капуцином. Услышав, что тот тянет вслух:

Дева чистая, святая,
При родах нам помогая... —

новоприбывший хлопнул в ладоши и воскликнул:

— Ого! Птичка редкостная! Чудо-человек! Капуцин, умеющий читать! Как же вас звать, братец?

— Брат Ангел, недостойный капуцин, — отвечал мой наставник.

Услышав чужие голоса, матушка, влекомая любопытством, спустилась из верхней горницы.

Аббат приветствовал ее вежливо, но уже как старый знакомый, и обратился к ней со следующими словами:

— Вот что достойно изумления, сударыня: брат Ангел — капуцин и, однако, умеет читать!

— Он может разобрать любую руку, — подхватила матушка.

И, приблизившись к брату Ангелу, она узнала молитву св. Маргариты по картинке, на которой изображена была святая дева-великомученица с кропилом в руках.

— Молитву эту, — добавила матушка, — очень трудно прочесть, потому что слова тут крохотные, одно к другому лепится. На счастье страждущих, достаточно приложить ее вместо пластыря к наболевшему месту, и она окажет действие ничуть не слабее, а пожалуй, и посильнее, чем при чтении вслух. Я сама, сударь, это на себе испытала, когда разрешалась от бремени сыном моим Жако, здесь присутствующим.

— И не сомневайтесь, добрейшая сударыня, — подхватил брат Ангел. — Молитва святой Маргариты доходчивее прочих при тех обстоятельствах, о коих вы изволили упомянуть, особенно если не забывать милостью своей

капуцинов.

С этими словами брат Ангел осушил полную до краев чарку, которую ему поднесла матушка, закинул свою суму за спину и направился в сторону «Малютки Бахуса».

Батюшка подал аббату четверть жареной индейки, а тот, вынув из кармана ломоть хлеба, скляницу вина и нож, медная рукоятка коего изображала нашего усопшего государя^[5] в обличии римского императора, водруженного на античную колонну, принялся за еду.

Но, положив в рот первый кусок, аббат оборотился к батюшке и попросил соли, выразив удивление, что на стол своевременно не поставили солонки.

— Таков, — сказал он, — обычай древних. Они предлагали гостю соль в знак гостеприимства. И также ставили солонки в храмах на пелену у языческих алтарей.

Батюшка подал крупную серую соль, хранившуюся в деревянном башмаке, который обычно висел у очага. Аббат густо посолил жаркое и произнес:

— Древние почитали соль необходимейшей приправой ко всем блюдам и так ее ценили, что иносказательно называли "солью" те остроумные слова, которыми приправляют беседу.

— Ах, — вздохнул батюшка, — как бы ни ценили соль ваши древние, нынче она по причине налогов в еще большей цене.

Не переставая шевелить спицами, матушка, вязавшая шерстяной чулок, обрадовалась случаю вставить словечко.

— Надо полагать, — начала она, — что соль и впрямь хорошая штука, коли священник кладет крупицу ее на язык младенца во время обряда крещения. Когда мой Жако почувствовал на языке вкус соли, он весь сморщился, потому что уже тогда, будучи совсем крошкой, отличался умом. Я говорю, господин аббат, о моем сыне Жаке, здесь присутствующем.

Взглянув на меня, аббат сказал:

— Сейчас он уже совсем большой мальчик. На лице его написана скромность, и он со вниманием читает «Житие святой Маргариты».

— Это еще что! — подхватила матушка. — Он читает и молитву против ознобления и молитву святого Юбера, каким научил его брат Ангел, и еще историю про одного человека, которого в предместье Сен-Марсель пожрали дьяволы, так как он хулил святое имя господне.

Батюшка, с умилением глядя на меня, нагнулся к аббату и шепнул ему на ухо, что я-де по врожденной своей природной понятливости могу

выучить все что угодно.

— Стало быть, — проговорил аббат, — надобно его приобщить к изящной словесности, каковая возвышает человека в глазах общества, служит утешением противу житейских бед и лекарством ото всех недугов, даже любовных, как утверждал поэт Феокрит^[6].

— Пусть я всего-навсего лишь скромный харчевник, — отвечал батюшка, — но я почитаю науки и верю, что они служат, как говорит ваша милость, лекарством от любви. Однако ж сомневаюсь, чтобы они могли стать лекарством от голода.

— Возможно, их нельзя уподобить всеисцеляющей мази, — возразил аббат, — но все же они приносят кое-какое облегчение на манер смягчающего, хоть я несовершенного бальзама.

Так говорил он, как вдруг на пороге харчевни показалась Катрина-кружевница со сбитым на сторону чепцом и изрядно помятой косынкой. При виде ее матушка нахмурилась и спустила две-три петли на своем вязании.

— Господин Менетрие, — обратилась Катрина к батюшке, — пойдите замолвите словечко дозорным стражам, иначе они непременно засадят брата Ангела за решетку. Достойный братец только что явился в «Малютку Бахуса», где и выкушал две, а может, три кружки пива, за которые не заплатил, опасаясь, по его словам, преступить правила, преподанные святым Франциском^[7]. Но худо другое: увидев, что я сижу в беседке с веселой компанией, он подошел, желая научить меня новой молитве. Я сказала, что сейчас для этого не время, но так как он упорствовал, колченогий ножовщик, с которым мы сидели рядышком, дернул его, и пребольно, за бороду. Тогда брат Ангел набросился на ножовщика, и тот покатился на землю, опрокинув стол и стоявшие на нем кувшины. На шум прибежал хозяин и увидел, что стол опрокинут, вино разлилось, а брат Ангел, придавив ногой голову ножовщика, размахивает табуретом и того, кто посмеет подойти, бьет не глядя; тогда зловредный хозяин начал ругаться последними словами и побежал за стражниками. Идите скорее, господин Менетрие, идите не мешкая, вызволите несчастного братца из лап стражников. Он святой человек и в этом деле заслуживает прощения.

Вообще-то батюшка охотно угождал Катрине. Однако на сей раз слова кружевницы не произвели на него того действия, на какое она рассчитывала. Он заявил, что находит непростительным подобное поведение со стороны капуцина и желает, чтобы того поскорее посадили на хлеб и воду в самую что ни на есть мрачную дыру, в подземелье той

обитатели, чьим позором и бесчестьем он сделался.

С каждым словом батюшка все больше распалялся:

— Чтоб какой-то пьяница и развратник, кому я каждый божий день даю чарку доброго вина и самые жирные куски, отправился озорничать в кабак с гулящими девицами, которые до того уж дошли, что предпочитают общество бродячего ножовщика и капуцина обществу честных торговцев, облеченных доверием всего квартала! Какого черта!

Тут батюшка вдруг прервал свою отповедь и украдкой взглянул на матушку; она, вытянувшись, стояла у лестницы, сурово и резко шевеля спицами.

Катрина, удивленная столь нелюбезным приемом, сухо проговорила:

— Стало быть, вы не хотите замолвить за него словечко перед кабатчиком и перед стражниками?

— Если прикажете, я им скажу словечко, — посоветую забрать вместе с капуцином и ножовщика.

— Как же так! — воскликнула кружевница со смехом. — Ведь ножовщик ваш друг.

— Не так мой, как ваш, — гневно отрезал батюшка. — Этот-то бродяга, разносчик, да еще хромой.

— Ах, вот оно в чем дело, — хихикнула Катрина, — верно, он хромает. Но хромать-то хромает, да в цель попадает!

И, громко смеясь, она покинула харчевню.

Батюшка повернулся к аббату, который аккуратно соскабливал ножом с индюшачьей ноги остатки мяса:

— Так вот, как я уже имел честь докладывать вашей милости, за каждый урок чтения и письма, который этот капуцин давал моему сыну, я платил ему чаркой вина и лакомым куском — зайчатины, крольчатины, гусятины, а то и пулярки или каплуна. Он просто пьянчужка и забулдыга!

— Будьте благонадежны, — подхватил аббат.

— Попробуй он только переступить порог харчевни, я его грязной метлой прогоню.

— И отлично сделаете, — одобрил аббат. — Этот капуцин сущий осел, и учил-то он вашего сынка не столько человеческой речи, сколько ржанию. Бросьте в огонь «Житие святой Маргариты», молитву против обмораживания и все эти истории про оборотней, которыми монах отравлял разум отрока, — и вы совершите благое дело. За ту цену, что получал от вас брат Ангел, я сам согласен давать уроки, я обучу это дитя латыни и греческому, обучу даже французской речи, над усовершенствованием коей немало потрудились Вуатюр и Бальзак^[8]. Таким

образом, благодаря двойной и редкостной удаче сей юный вертеловерт, сей Жако Турнеброш^[9], станет ученым мужем, а я буду каждодневно обедать.

— По рукам! — вскричал батюшка. — Принесите-ка нам, Барб, две чарки. Пока обе стороны не чокнутся в знак согласия — дело не пойдет. Разопьем вино здесь. Ноги моей больше не будет в «Малютке Бахусе», только бы подальше от этого ножовщика и этого капуцина.

Аббат поднялся с места и, опершись на спинку стула, произнес медленным, торжественным тоном:

— Прежде всего благодарю тебя, создатель, творец и попечитель всего сущего, за то, что ты привел меня в сей дом хлебодарный. Один лишь ты направляешь наши стопы, и в делах повседневных узнаем мы твои предназначения, хотя было бы весьма дерзко, а то и просто неуместно следовать им слишком неукоснительно. Ибо каждый наш шаг направляет божественная длань, ее обнаруживаем мы в любых делах, само собой разумеется возвышенных, коль скоро в них сказывается воля божья, и, однако ж, низменных и смехотворных, коль скоро в них участвуют люди, а воля его открывается нам только в своей человеческой ипостаси. Посему не будем, как то делают капуцины и простодушные женщины, при виде козявки вопить, что ползет она-де, выполняя промысел божий. Воздадим хвалу отцу небесному, помолимся ему, дабы просветил он меня в тех знаниях, какие я надеюсь передать этому отроку, а что касается всего прочего, положимся на его святую волю, не пытаюсь понять ее через малое. Потом, подняв чарку, он отхлебнул чуть не половину.

— Вино, — сказал он, — вносит в состав человеческого тела приятное и оздоравливающее тепло. Влага сия достойна быть воспета на Теосе или в Тампле князьями вакхической поэзии Анакреоном и Шолье^[10]. Мне хочется омочить вином губы юного моего ученика. Он поднес чарку к моему подбородку и воскликнул:

— Пчелы Академии, сюда, сюда, спуститесь благозвучным роем на уста Якобуса Турнеброша, посвященные отныне музам.

— О господин аббат, — вмещалась матушка, — вино и вправду привлекает пчел, особенно сладкое вино. Но зачем этим злыдням, этим мухам садиться на губы моего Жако, ведь они пребольно жалят. Как-то раз я надкусила персик, а пчела возьми да и ужаль меня в язык, от боли я света божьего невзвидела. И полегчало мне лишь тогда, когда брат Ангел положил мне на язык щепотку земли, смешанной со слюною, и прочел молитву святому Козьме.

Аббат разъяснил матушке, что о пчелах он упомянул в

иносказательном смысле. А батюшка, не сдержавшись, упрекнул ее:

— Барб, вы святая и достойная женщина, но я сотни раз замечал за вами прискорбную слабость врываться очертя голову в серьезную беседу, забывая, что хуже всего соваться в воду, не спросясь броду.

— Может, и так, — согласилась матушка. — Но, если бы вы слушались моих советов, Леонар, вам же было бы лучше. Понятно, я не разбираюсь во всех пчелах, какие бывают на свете, но я понимаю, как нужно вести дом и что полагается делать мужчине в летах, отцу семейства и знаменосцу цеха, дабы, сохранить приличие и благонравие.

Батюшка поскреб за ухом и налил вина аббату, который произнес со вздохом:

— Увы, в наши дни наука не столь почитаема во Французском королевстве, как была она почитаема у римского народа, хотя к тому времени, когда риторика возвысила Евгения до императорского сана^[11], римляне уже утратили свои древние добродетели. В наш век не редкость видеть сведущего человека на чердаке без света и огня. *Exemplum ut talpa.*^[12] Тому примером я.

Тут он поведал нам историю своей жизни, каковую и привожу дословно, разве что за исключением тех мест, которые я, по детскому своему недомыслию, не мог уразуметь, а следовательно, и удержать в памяти. Надеюсь, что мне все же удалось восстановить пробелы, пользуясь теми признаниями, какие делал он позднее, когда удостоил меня своей дружбы.

* * *

— Таким, каким вы видите вашего покорного слугу, — начал аббат, — или, вернее сказать, таким, каким вы меня не видите, — ибо тогда был я молод, строен, черноволос и быстроглаз, — я преподавал свободные искусства в коллеже Бове под началом господ Дюге, Герена, Коффена и Баффье. Я получал награды и надеялся составить себе громкое имя в науках. Но женщина разбила все мои чаяния. Звалась она Николь Пигоро и держала книготорговлю под вывеской «Золотая библия» на площади перед самым коллежем. Я был завсегдатаем ее лавочки и без конца листал книги, полученные из Голландии, равно как иллюстрированные издания, снабженные весьма учеными сносками, толкованиями и комментариями. Я был пригож собой, и, на мою беду, госпожа Пигоро не преминула это заметить. Была она премиленькая и могла еще нравиться. Глаза, ее говорили красноречивее слов. В один прекрасный день Цицерон и Тит Ливий, Платон и Аристотель, Фукидид, Полибий и Варрон, Эпиктет, Сенека, Боэций и Кассиодор, Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид, Плавт и Теренций, Диодор Сицилийский и Дионисий Галикарнасский, святой Иоанн Златоуст и святой Василий, святой Иероним и блаженный Августин, Эразм, Сомез, Тюрнеб и Скалигер, святой Фома Аквинский, святой Бонавентура, Боссюэ в компании с Ферри, Ленен, Годфруа, Мезерэ, Мейнбург, Фабрициус, отец Лелон и отец Питу, все поэты, все ораторы, все историки, все отцы церкви, все ученые мужи, все теологи, все гуманисты, все компиляторы, сверху донизу заполнившие стены, стали свидетелями нашего первого поцелуя.

— Я ни в чем не могу вам отказать, — сетовала Николь, — только не возымейте обо мне худого мнения.

В выражении своей безумной любви она не знала удержу. Как-то раз она примерила мне кружевные брыжи с кружевными манжетами и, решив, что я в них просто душка, потребовала, чтобы я взял их себе. Я, понятно, отказался. Но так как мой отказ она сочла оскорблением для своей любви и разгневалась, я согласился принять ее дар, боясь вызвать неудовольствие милой.

Счастье мое длилось до того самого дня, когда меня сменил некий офицер. Легко представить себе, как глубоко был я уязвлен; горя жаждой мести, я довел до сведения попечителей коллежа, что больше в «Золотую библию» я не ходок, ибо опасаясь стать свидетелем сцен, могущих

оскорбить скромность юного священнослужителя. Признаюсь откровенно, затея оказалась не из самых удачных, так как госпожа Пигоро, проведав о распускаемых на ее счет слухах, объявила под рукой, будто я стянул у нее кружевные манжеты и кружевные брыжи. Лживые эти жалобы достигли слуха наших попечителей, которые повелели обыскать мой сундучок, где и были обнаружены вышеупомянутые вещицы, стоившие немалых денег. Меня изгнали из коллежа, и я, по примеру Ипполита и Беллерофонта, испытал на себе, что значит женское коварство и злоба^[13]. Очутившись на улице с моими пожитками и тетрадями по элоквенции, я чуть было не умер с голоду, но, сняв свое священническое одеяние, пошел к одному вельможе-гугеноту, представился ему, он взял меня в секретари, и я стал писать под его диктовку пасквилы противу религии.

— Ну это уж, господин аббат, не к вашей чести, — воскликнул батюшка. — Порядочный человек не должен прикладывать руку к подобным мерзостям. И пусть я человек неученый, пусть занимаюсь рукомерлом, не выношу я гугенотского духа.

— Вы правы, хозяин, — ответил аббат. — То была самая черная страница в моей жизни. До сих пор меня день и ночь грызет раскаяние. Однако ж мой вельможа был кальвинист. По его приказу я громил лишь лютеран и социнианскую ересь, каковую он не терпел, я, уверяю вас, по его наущению я поносил еретиков куда более сурово, чем сама Сорбонна.

— Аминь, — сказал батюшка. — Когда волки грызутся, ягнята мирно пасутся.

Аббат продолжал свой рассказ.

— Впрочем, я недолго оставался у этого вельможи, которого больше занимали письма Ульриха фон Гуттена^[14], нежели речи Демосфена, и за столом у которого пили одну чистую воду. Уйдя от него, я переменял десяток занятий и ни в одном не преуспел. Был я носильщиком, затем комедиантом, монахом, лакеем. Потом, вновь надев священническое одеяние, определился я секретарем к епископу Сеэзскому, где и составил каталог ценнейших манускриптов, находившихся в его библиотеке. Каталог этот, представлявший собой два тома *in folio*, епископ поместил в своей галерее, отдав предварительно переплести в сафьян, вытеснить на переплете свой герб и позолотить обрезы. Осмелюсь сказать, что труд получился обстоятельный.

Сидеть бы мне да сидеть в тиши у моего епископа и мирно стариться за книгами. Но я полюбил горничную супруги судьи. Не осуждайте меня за то слишком сурово. Пухленькая, веселая, свежая брюнеточка, тут бы сам

святой Пахомий согрешил. В один прекрасный день она в почтовой карете отправилась в Париж на поиски счастья. И прихватила меня с собой. Однако ж мне не так повезло, как ей. По ее рекомендации я поступил в услужение к госпоже Сент-Эрнест, танцовщице оперы, которая, проведав о моих талантах, пожелала продиктовать мне памфлет против мадемуазель Давилье, имея свои основания не жаловать последнюю. Я недурно исполнил роль секретаря и честно заработал обещанные мне пятьдесят экю. Книга была отпечатана в Амстердаме у Марка-Мишеля Рея с аллегорической заставкой, и мадемуазель Давилье получила первый экземпляр памфлета перед самым выходом на сцену, где ей предстояло петь знаменитую арию Армиды. От злости она охрипла, и голос ее дрожал. Пела она фальшиво и была освистана. Кое-как закончив арию, она, как была — в пудре и в фижмах, — помчалась к управителю, который ни в чем ей не мог отказать. В слезах она кинулась к его ногам, взывая о мщении. В скором времени дознались, что удар нанесен рукой госпожи Сент-Эрнест.

Не выдержав допросов, очных ставок и угроз, она назвала мое имя, и меня заточили в Бастилию, где я и провел четыре года. Единственно, что отчасти утешало меня в моем горе, было чтение Боэция^[15] и Кассиодора^[16].

Потом на кладбище святого Иннокентия я открыл лавчонку, где в качестве писца отдаю за плату влюбленным служанкам перо, достойное изображать прославленных мужей Рима и толковать писания отцов церкви. За каждое любовное письмо я получаю по два лиара и, занимаясь этим ремеслом, не столь живу, сколь умираю с голоду. Но я не забываю, что Эпиктет был рабом, а Пиррон — садовником^[17].

По счастливой случайности нынче мне перепало экю за составление подметного письма. Два дня во рту у меня маковой росинки не было. Не мешкая, я двинулся в путь на поиски харчевни. Еще с улицы я заметил вашу вывеску, огонь в очаге, приветливо играющий в окнах. Почуял уже на пороге сладостный запах съестного. И вошел. Теперь, дражайший хозяин, вы знаете всю мою жизнь.

— Жизнь честного человека, на мой взгляд, — ответил батюшка, — и, если не считать гугенотской мерзости, ничего за вами худого не водится. Вот вам моя рука! Отныне мы друзья. Как прикажете вас величать?

— Жером Куаньяр, доктор богословия, лицензиат наук.

* * *

Если что поистине замечательно во всех делах людских, так это взаимное сцепление следствий и причин. Прав поэтому был г-н Жером Куаньяр, говоривший: «Приглядевшись хорошенько к этой странной череде ударов и ответных тычков, где сталкиваются меж собой судьбы человеческие, нельзя не признать, что господь бог в своем совершенстве наделен и остроумием, и фантазией, и чувством смешного; более того, по части чисто театральных эффектов он столь же искусен, как во всем прочем, и если бы он, вдохновивший Моисея, Давида и пророков, удостоил еще вдохновить господина Лесажа и ярмарочных сочинителей^[18], мы наслаждались бы презабавными арлекинами». И я сделался латинистом только потому, что брат Ангел был взят стражей и заключен в церковную тюрьму за то, что едва не задушил ножовщика в беседке «Малютки Бахуса». Г-н Жером Куаньяр честно сдержал свое слово. Он стал давать мне уроки и, убедившись в моем послушании и понятливости, с удовольствием обучал меня древней словесности. Через несколько лет он образовал из меня изрядного латиниста.

До конца жизни в моей душе не изгладится благодарная о нем память. Нетрудно понять, сколь я ему обязан; ведь, развивая мой ум, он не пренебрегал ничем, желая одновременно развить и мое сердце и душу. Он читал мне «Максимы» Эпиктета, «Проповеди» св. Василия и «Утешения» Боэция. На прекраснейших текстах знакомил он меня с философией стоиков; но лишь для того открывал он мне ее величие, дабы еще ниже низвергнуть во прах перед философией христианской. Это был тонкий богослов и добрый католик. Вера его уцелела среди обломков как самых милых его сердцу иллюзий, так и самых его законных чаяний. Слабости, заблуждения, ошибки, которые он не старался скрыть или приукрасить, даже они не могли поколебать его веру во благость провидения. И чтобы еще явственнее стал его облик, добавлю: о вечном спасении своей души он пекся неусыпно, даже в самых, казалось бы, неподходящих для того обстоятельствах. Мне он внушал принципы просвещенного благочестия. Старался он также приохотить меня к добродетели и с помощью примеров, позаимствованных из жизнеописания Зенона^[19], превратить ее для меня, так сказать, в повседневную житейскую привычку.

Надеясь показать мне все опасности пороков, он черпал аргументы из близлежащего источника и признавался, что из-за чрезмерного пристрастия

к вину и женщинам он лишился чести взойти на кафедру коллежа в длинной мантии и четырехугольной шапке.

Со всеми этими редкостными достоинствами сочетались усидчивость и терпение, ибо аббат соблюдал часы наших занятий с такой неукоснительной точностью, какой трудно было ждать от человека, не защищенного от превратностей бродячей жизни и увлекаемого беспокойным потоком судьбы к приключениям, не столь ученого, сколь плутовского свойства. Рвение это объяснялось его добротой, а также и его привязанностью к нашей славной улице св. Иакова, где находили себе удовлетворение все насущные потребности его, как плотские, так и духовные.

Дав с пользой для меня урок и скушав обильный обед, он отправлялся в обход, заглядывая к «Малютке Бахусу» и в лавку «Под образом св. Екатерины», так как здесь, на маленьком клочке земли, в этом раю, обретал он одновременно свежее вино и книги.

Он стал завсегдатаем г-на Блезо, книготорговца, который приветливо встречал аббата, хотя тот, перелистав все книги, ни разу не приобрел ни одной. Кто бы не залюбовался чудеснейшей этой картиной, видя, как в глубине лавки мой добрый учитель, уткнувшись носом в какую-нибудь книжицу, только что полученную из Голландии, при случае отрывался от чтения и с одинаковым знанием дела пускался в пространные я остроумные рассуждения о любом предмете, будь то планы всемирной монархии, приписываемые покойному королю, или галантные похождения некоего финансиста и девицы с театральных подмостков. Г-н Блезо никогда не уставал его слушать. Сам г-н Блезо был маленький, сухонький и чистенький старичок, ходивший во фраке, дикого цвета панталонах и серых шерстяных чулках. Я от души восторгался им и не мыслил себе более прекрасного удела, чем торговать подобно ему книгами в лавке «Под образом св. Екатерины».

Одно воспоминание придало в моих глазах особое несказанное очарование книготорговле у г-на Блезо. Здесь, в один прекрасный день, будучи еще на заре моих лет, я впервые увидел обнаженную женщину. Вижу ее, как сейчас. То была Ева на картинке в библии. У нее был толстый живот и коротковатые ноги, и на фоне голландского пейзажа она беседовала со змием. Тогда-то я почувствовал к обладателю эстампа величайшее уважение, которое не ослабло и впоследствии, когда я, по милости г-на Жерома Куаньяра, пристрастился к книгам.

В шестнадцать лет я уже порядочно знал латынь и разбирался в греческом. Как-то добрый мой учитель сказал батюшке:

— Не находите ли вы, дорогой хозяин, что поистине непристойно держать далее юного поклонника Цицерона в наряде поваренка?

— Я об этом не думал, — признался батюшка.

— Верно, верно, — подхватила матушка, — пора одеть нашего сынка в канифасовый камзол. Внешность у него приятная, манеры хорошие, к тому же он ученый и камзола не посрамит.

Батюшка с минуту сидел в раздумье, затем спросил, пристало ли харчевнику носить канифасовый камзол? Но аббат Куаньяр возразил, что никогда мне, питомцу муз, не быть харчевником и что недалеко то время, когда я облачусь в рясу священнослужителя.

Батюшка глубоко вздохнул при мысли, что после его кончины не я буду знаменосцем славного цеха парижских харчевников. А матушка вся так и засияла от гордости и счастья при мысли, что сын ее станет священнослужителем.

Сделавшись обладателем канифасового камзола, я сразу же обрел уверенность в обхождении и почувствовал необходимость составить себе о женщинах более полное представление, нежели то, какое я некогда получил от созерцания Евы г-на Блезо. Я справедливо рассудил, что в этом мне могут помочь Жаннета-арфистка и Катрина-кружевница, которые по двадцать раз на дню проходили мимо нашей харчевни, и, когда стояла дождливая погода, я беспрепятственно мог любоваться тоненькой лодыжкой и крохотной ножкой, нащупывавшей носком сухие камни. Красотой Жаннета уступала Катрине. Была она и постарше и не так щеголяла нарядами. Будучи родом из Савои, она и похожа-то была на сурка, так как подбирала волосы под клетчатый платок. Зато у нее имелось одно бесспорное достоинство: наша арфистка не особенно чинилась и понимала, чего от нее хотят, еще прежде, чем к ней обращались с просьбой. Словом, характер ее вполне отвечал моей робости. Как-то вечером на паперти св. Бенедикта Увечного, уставленной каменными скамьями, Жаннета обучила меня той науке, что была мне еще неведома, но в которой она давно уже понаторела. Но я не чувствовал должной признательности к своей наставнице и мечтал лишь о том, как бы поскорее применить преподанную ею науку к другим, более привлекательным особам. Добавляю в извинение своей неблагодарности, что и сама Жаннета-арфистка придавала этим урокам не больше значения, нежели придавая им я, и она охотно оказывала подобные услуги всем ветрогонам нашего околотка.

Катрина, отличавшаяся большей сдержанностью манер, внушала мне непобедимую робость, и я не осмеливался сказать ей, что нахожу ее

очаровательной. Особенно же усиливало мое смущение то, что она непрерывно высмеивала меня и не упускала случая, чтобы меня поддразнить. Чаще всего она шутила по поводу моего еще безволосого подбородка, отчего я краснел и готов был сквозь землю провалиться. Заметив ее, я напускал на себя мрачный и грустный вид. Я притворялся, будто пренебрегаю ею. Но слишком была она хороша, чтобы я действительно мог ею пренебречь.

* * *

В ту ночь, в ночь девятнадцатой годовщины моего рождения и крещенский сочельник, когда с неба сыпался мокрый снег и в промозглой сырости под порывами ледящего ветра скрежетала вывеска нашей «Королевы Гусиные Лапы», — яркий огонь, благоухавший гусиным салом, озарял нашу харчевню, и миска с дымящимся супом уже красовалась на белоснежной скатерти, покрывавшей стол, вокруг которого сидели г-н Жером Куаньяр, мой батюшка и я. Следуя установленному обычаю, матушка стояла за стулом хозяина дома, готовая служить ему. Батюшка уже налил полную тарелку аббату, как вдруг дверь распахнулась и пред нами предстал брат Ангел с белым как мел лицом и багровым носом; с бороды его ручьями стекала вода. От удивления батюшка так взмахнул разливательной ложкой, что чуть было не задел закопченных балок потолка.

Удивление батюшки было вполне объяснимо. После первого своего исчезновения, длившегося полгода, вследствие драки с колченогим ножовщиком, брат Ангел на сей раз целых два года не давал о себе знать. В один весенний день он исчез из города вместе с ослом, нагруженным священными реликвиями, и, что много хуже, вместе с Катриной-кружевницей в монашеском одеянии. Никто не знал, что с ними случилось, однако в «Малютке Бахусе» прошел слух, что братец и сестрица имели неприятности с духовным судьей где-то меж Туром и Орлеаном. Уж не говоря о том, что викарий обители св. Бенедикта вопил как оглашенный, что этот мерзопакостник-капуцин похитил у него осла.

— Смотрите-ка, — воскликнул батюшка, — оказывается, этого мошенника не засадили в подземелье. Видно, нет больше справедливости в нашем королевстве.

Но брат Ангел прочел Benedicite^[20] и осенил крестным знаменем суповую миску.

— Ну-ну! — продолжал батюшка. — Хватит юродствовать, честной чернец. И признайтесь лучше, что из двух лет, в течение коих мы не имели счастья лицезреть у себя вашу сатанинскую харю, вы никак не меньше года провели в церковном узилище. На улице святого Иакова одним жуликом стало меньше, а околотку прибавилось уважения. Эх, жарить бы на вертеле таких бахвалов, которые уводят ослов у ближнего своего и девиц, принадлежащих всему приходу.

— Я догадываюсь, — ответил брат Ангел, опустив глаза и пряча руки в обшлага рясы, — я догадываюсь, мэтр Леонар, что вы имеете в виду Катрину, которую мне посчастливилось обратиться к истине, указать ей путь к лучшей жизни; я так преуспел в выполнении своей задачи, что она возжелала следовать за мной со священными реликвиями и совершить благочестивое паломничество к черной Шартрской богоматери. Я согласился на ее общество лишь при том условии, что она облачится в монашеское одеяние. Что она и совершила безропотно.

— Замолчите вы, распутник этакой, — прервал его батюшка. — Вы не уважаете свою рясу. Убирайтесь туда, откуда пришли, и посмотрите-ка, сделайте милость, снаружи, нет ли сосулк под крышей «Королевы Гусиные Лапы».

Но матушка знаком пригласила брата Ангела присесть у очажного колпака, что тот и сделал, стараясь не шуметь.

— Надобно прощать капуцинам, — заметил аббат, — ибо грешат они в простоте душевной.

Батюшка попросил г-на Куаньяра не говорить более об этом отродье, так как даже при одном упоминании о капуцинах вся кровь бросается ему в голову.

— Мэтр Леонар, — сказал аббат, — философия смягчает душу. Скажу о себе, я охотно отпускаю грехи жуликам, мошенникам и всем отверженным. Более того, я не питаю злобы и к людям состоятельным, хотя они слишком заносчивы. И если бы вы, мэтр Леонар, подобно мне вращались среди знатных особ, вы знали бы, что они не лучше всех прочих и что общение с ними подчас не так уж приятно. В трапезной епископа Сеэзского мне было отведено место за третьим столом, и за моим стулом стояли двое слуг в черных ливреях: Церемонность и Скука.

— Скажем прямо, у слуг его высокопреподобия были диковинные имена, — вмешалась матушка. — Почему бы по обычаю было не назвать их Шампанем, Оливком или Рокфором!

— Правда, — продолжал аббат, — иные особы без труда применяются к тем неудобствам, какие испытываешь в кругу вельмож. За вторым столом епископа Сеэзского сидел некий каноник, человек редчайшей учтивости, который до последнего своего вздоха соблюдал все церемонии. Узнав, что часы каноника сочтены, его преосвященство пожелал навестить больного и, поднявшись в его комнату, увидел, что тот отходит. «Прошу прощения, ваше преосвященство, за то, что вынужден умереть перед вами», — прошептал каноник. «Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь!» — благосклонно ответил епископ.

В эту минуту матушка принесла жаркое и водрузила блюдо на стол движением, исполненным такой хозяйской степенности, что батюшка, видимо, умилился душой, ибо неожиданно для всех воскликнул с набитым ртом:

— Барб, вы святая и достойная женщина!

— И впрямь, — подхватил мой добрый учитель, — нашу хозяйку не грех уподобить тем достойным женщинам, о коих повествует Священное писание. Это жена пред господом.

— Благодарение богу! — отвечала матушка. — Я ни разу не преступила обета верности, в которой поклялась Леонару Менетрие, своему супругу, и, надеюсь, не осрамлюсь до конца дней моих, раз самое опасное уже позади. Хотелось бы, чтобы и он хранил мне верность столь же свято, как я.

— Сударыня, увидев вас, я с первого же взгляда понял, что вы честная женщина, — уверил аббат, — ибо в вашем присутствии я ощутил некое умиротворение, которое скорее сродни небесам, нежели грешной земле.

Моя матушка, будучи женщиной простой, но отнюдь не глупой, отлично поняла намек аббата и ответила ему, что, знай он ее лет двадцать назад, он составил бы о ней иное мнение, чем ныне, когда ее миловидность поблекла в этой лавке, где пышет огонь, чадят вертела и дымит похлебка. Но так как замечание аббата все ж таки уязвило матушку, она добавила, что, видно, пришлось по вкусу пекарю Оно, коли он всякий раз предлагал ей пирожок, когда она проходила мимо его булочной! В заключение матушка не без горячности сказала, что нет на свете такой уродливой девицы или женщины, которая не могла бы нагрешить, коли ей очень захочется.

— Моя славная женушка права, — подхватил батюшка. — Припоминаю, когда я был еще подручным в харчевне «Королевский Гусь», неподалеку от ворот Сен-Дени, мой хозяин, который в те времена был знаменосцем нашего цеха, каковым стал теперь я, сказал мне: «При такой безобразной жене, как моя, никогда не буду я рогоносцем». Слова эти навели меня на мысль сделать то, что он почитал невозможным. И мне это удалось при первой же попытке, как-то утром, когда он уехал по делам в Балле. Он правду сказал: супруга его была на редкость безобразна, зато отличалась умом и умела быть признательной.

Услышав эту забавную историю, матушка сильно прогневалась и сказала, что подобные речи не к лицу отцу семейства, если он желает, чтобы жена и сын относились к нему с должным уважением.

Господин Жером Куаньяр, заметив, что матушка даже побагровела от

досады, с присущей ему ловкостью и добротой поспешил переменить разговор. Неожиданно для всех он обратился к брату Ангелу, который, спрятав руки под обшлага рясы, смиренно сидел у камелька, и спросил его:

— А какие реликвии вы, братец, развозили на осле второго викария в сопровождении сестры Катрины? Уж не ваши ли собственные штаны, которые вы давали лобызать прихожанкам, по примеру некоего францисканского монаха, чьи похождения описаны Анри Эстьеном.^[21]

— Ах, господин аббат, — вздохнул брат Ангел с видом мученика, готового пострадать за истину, — вовсе не мои штаны, а ногу святого Евстахия.

— Клянусь, я так и знал, прости мне бог мою клятву, — вскричал аббат, размахивая индюшачьим крылышком. — Эти капуцины откапывают святых, о которых и не слыхивали благочестивые отцы, толкующие Священное писание. Ни Тилемон, ни Флери даже не упоминают о святом Евстахии и совершенно напрасно воздвигли ему в Париже храм, когда есть десятки святых, чьи заслуги засвидетельствованы вполне уважаемыми писателями, однако ж эти святые еще только ждут такой чести. Житие этого Евстахия не что иное, как собрание нелепых рассказов. И то же самое можно сказать о святой Екатерине, которая существовала лишь в воображении какого-то жалкого византийского монаха. Впрочем, не стану на нее нападать, поскольку она покровительница сочинителей и ее имя значится на вывеске лавки добрейшего господина Блезю, а его лавка самое восхитительное на свете место.

— Возил я также, — спокойно продолжал братец — ребро святой Марии Египетской.

— Ах, вот ее-то, — вскричал аббат, швырнув через всю комнату обглоданную кость, — вот ее-то я почитаю самой что ни на есть пресвятой, ибо она своей жизнью преподала нам прекраснейший пример самоуничтожения.

— Как вам известно, сударыня, — обратился аббат к матушке и даже потянул ее за рукав, — святая Мария Египетская отправилась поклониться гробу господню, но путь ей преградила глубокая река; не имея ни гроша, дабы заплатить за перевоз, она предложила паромщикам в качестве платы свое тело. Ну, что вы на это скажете, милейшая сударыня?

Матушка осведомилась сначала, действительно ли так оно и было. Когда же аббат заверил, что история эта напечатана в книгах и даже изображена на витраже Жюсьенской церкви, матушка признала ее подлинность.

— Сдается мне, — сказала она, — надобно быть святой, как Мария

Египетская, чтобы сотворить такое без греха. Поэтому-то я никогда бы не решилась.

— Что касается меня, — воскликнул аббат, — то я вполне одобряю поступок святой Марии, сходясь в том с ученейшими мужами. Она дала достойный урок добропорядочным женщинам, которые с излишним высокомерием упорствуют в добродетели, обращая ее в предмет гордыни. Если подумать хорошенько, в этом стремлении чересчур высоко ценить свою плоть и хранить с излишней щепетильностью то, что достойно лишь презрения, — во всем этом есть нечто слишком уж чувственное. На каждом шагу встречаются почтенные матроны, которые воображают себя вместилищем некоего клада, требующего постоянной охраны, и поэтому явно преувеличивают то значение, какое придают их особе господь бог и ангелы. Они почитают себя какими-то ходячими святыми дарами. Святая Мария Египетская более трезво смотрела на вещи. Будучи на диво сложена и прелестна лицом, она правильно рассудила, что прерывать святое паломничество ради предмета самого по себе столь незначительного — признак чрезмерной гордыни, тем паче речь ведь шла о том, что следует умерщвлять, а отнюдь не возводить в ранг бесценного алмаза. И она, сударыня, умертвила то, что подлежит умерщвлению; свершив тем самым акт достойнейшего самоуничижения, она вступила на стезю раскаяния и отметила ее достохвальными деяниями.

— Господин аббат, — я что-то вас не совсем понимаю, — призналась матушка. — Уж очень вы для меня учены.

— Эта великая праведница, — вставил брат Ангел, — представлена в натуральную величину в часовне нашей обители и все ее тело, по великой милости господней, покрыто густыми и длинными волосами. С этой картины снято множество изображений, и я вам, хозяйюшка, непременно принесу один такой освященный образок.

Матушка растрогалась и потихоньку от хозяина дома протянула капуцину миску с супом, а достойный братец, грея ноги в золе, без лишних слов погрузил бороду в благоухающий навар.

— По-моему, — начал батюшка, — сейчас как раз самое время откупорить одну из тех бутылочек, что я держу для больших праздников, каковыми являются рождество, крещение и день святого Лаврентия. Самое приятное на свете — попивать доброе вино, сидя спокойно у себя дома, и знать, что ты надежно защищен от непрошенных гостей.

Не успел батюшка договорить, как распахнулась дверь, и какой-то высокий мужчина, весь в черном, ворвался в харчевню, сопутствуемый снежным вихрем и порывами ветра.

— Саламандра! Это саламандра! — вопил он.

И, не обращая на всех нас никакого внимания, он нагнулся над очагом и расшвырял кончиком трости тлеющие головни к великому неудовольствию брата Ангела, который, волей-неволей проглотив вместе с ложкой супа изрядную порцию золы и угольков, раскашлялся так, что чуть было не отдал богу душу. А черный человек продолжал ворошить угли с криком: «Саламандра! Вижу саламандру!», и потревоженное пламя отбрасывало на потолок его дрожащую тень, похожую на огромную хищную птицу.

Батюшка был не только удивлен, но и раздосадован поведением сего незваного гостя. Но он умел владеть собой. Поэтому он поднялся и, держа под мышкой салфетку, приблизился к очагу и нагнулся над топкой, упершись руками в бока.

Вдоволь налюбовавшись развороченным камельком и братом Ангелом, засыпанным золою, батюшка наконец произнес:

— Да простит меня ваша милость, но, кроме этого гнусного монаха, я не вижу никакой саламандры, о чем, впрочем, и не особенно сожалею, — добавил он, — ибо, по слухам, саламандра мерзкая тварь, в шерсти, рогатая и с преогромными когтями.

— Какое заблуждение! — воскликнул черный человек. — Саламандры схожи с женщинами, или, вернее сказать, с нимфами, и они отличаются редкостной красотой. Но только по наивности своей я мог требовать от вас, чтоб вы увидели саламандру. Для того, чтобы узреть ее, надобно быть философом, а я не думаю, чтобы в этой кухне нашелся хоть один философ.

— Так недолго и ошибиться, сударь, — возразил аббат Куаньяр. — Вот я, к примеру, доктор богословия и магистр наук; я изрядно понаторел в изучении греческих и латинских моралистов, чьи максимы укрепили мою душу во всех жизненных передрягах, особенно же охотно прибегал я к Боэцию, как к лекарству противу всех земных бед. А рядом со мною сидит Якобус Турнеброш, мой ученик, который на зубок знает все изречения Публия Сира.

Незнакомец обратил к аббату желтые глаза, дико сверкавшие по сторонам крючковатого носа, и с любезностью, какую трудно было даже предположить, глядя на его свирепую физиономию, попросил прощения, что не признал с первого взгляда человека столь многих достоинств.

— Более чем возможно, — добавил он, — что эта саламандра явилась сюда ради вас или ради вашего ученика. Проходя мимо харчевни, я отчетливо увидел ее с улицы. Если бы огонь горел жарче, ее было бы видно яснее. Вот почему, как только в очаге вам почудится саламандра, надобно

изо всех сил мешать угли.

При первом же движении незнакомца, который снова хотел было разворошить золу, брат Ангел испуганно прикрыл суповую миску подолом рясы и зажмурил глаза.

— Сударь, — промолвил искатель саламандр, — дозвоьте вашему юному ученику приблизиться к очагу, и пусть он скажет, не видно ли в пламени некоего подобия женщины.

В эту самую минуту струя дыма, подымавшегося от очага к колпаку, вдруг изогнулась с каким-то неповторимым изяществом и образовала выпуклое полукружие, которое могло сойти за изгиб женского бедра в глазах человека слишком склонного лицезреть подобные предметы. Посему я не солгал, заявив, что, кажется, вижу нечто подобное.

Не успел я вымолвить этих слов, как незнакомец, подняв свою непомерно длинную руку, с такой силой хлопнул меня по плечу, что я испугался за целостность ключицы.

— Дитя мое, — заговорил он ласковым голосом, благосклонно глядя на меня, — мой долг впечатлить вас столь ощутимым манером, дабы вы никогда не забыли о том, что узрели саламандру. Это — знак того, что вам суждено стать ученым, и, кто знает, быть может, даже магом. Не напрасно ваше лицо подсказало мне самое благоприятное мнение о ваших талантах.

— Сударь, — вмешалась матушка, — он может выучить все, что пожелает, и, если будет на то милость божья, станет аббатом.

Господин Жером Куаньяр добавил, что я извлек кое-какую пользу из его уроков, а батюшка осведомился у незнакомца, не угодно ли его милости чего-либо отведать.

— Никакой нужды в пище я не испытываю, — отвечал тот, — и для меня сущий пустяк по году, а то и более, вовсе обходиться без еды, помимо некоего эликсира, состав коего известен одним только философам. Впрочем, способность эта присуща не мне одному; она свойственна всем мудрецам, и известно, что прославленный Кардано в течение нескольких лет воздерживался от принятия пищи, не испытывая от того никаких неудобств. Более того, во время поста ум его приобрел необыкновенную живость. Впрочем, — заключил философ, — в угоду вам я не прочь отведать все, что вам заблагорассудится мне предложить.

И не чинясь, он подсел к нам. В то же самое мгновение брат Ангел бесшумно вдвинул свою скамеечку между моим стулом и стулом моего наставника и очутился за столом как раз вовремя, чтобы не упустить своей доли паштета из дичины, который матушка водрузила на стол.

Когда философ сбросил на спинку стула свой плащ, мы увидели, что

его камзол застегнут алмазными пуговицами. За столом он сидел с самым задумчивым видом. Тень от крючковатого носа падала на губы, а впалые щеки подчеркивали линию челюстей. Эта угрюмая мина омрачала наше веселье. Даже добрый мой учитель, и тот, потягивая винцо, хранил упорное молчание. Тишину нарушали лишь чавкающие звуки — это братец с аппетитом уписывал паштет.

Внезапно философ заговорил:

— Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что саламандра явилась сюда ради этого юноши.

И он ткнул в мою сторону ножом.

— Сударь, — ответил я, — если саламандры и впрямь таковы, как вы утверждаете, то приходившая сюда саламандра оказала мне немалую честь, и я глубоко признателен ей за это. Но, по правде говоря, я скорее угадал ее очертания, нежели видел ее воочию, и наша первая встреча лишь возбудила мое любопытство, отнюдь не насытив его.

Лишенный возможности наговориться всласть, мой добрый учитель недовольно сопел.

— Сударь, — неожиданно обратился он к философу, и голос его раскатился по всей комнате, — сударь, мне пятьдесят один год, я магистр наук и доктор богословия, я прочел всех греческих и римских авторов, чьи творения пощадило жестокое время или злобное невежество людей, и там я никогда не встречал саламандр, из чего разумно заключаю, что таковых вообще не существует.

— Прошу прощения, — промямлил брат Ангел, не успевший справиться со своим паштетом и страхом. — Прошу прощения. Увы, саламандры существуют на нашу погибель, и некий отец иезуит, чье имя я запомнил, прямо пишет об их существовании. Да и сам я в одном селении, носящем название Сен-Клод, видел в очаге возле самого котла саламандру. Голова у нее была кошачья, тело жабье, а хвост рыбий. Я выплеснул целый горшок святой воды на это чудище, и оно тут же растворилось в воздухе, зашипев, как сало на сковородке, в клубах такого едкого дыма, что удивительно, как мне еще глаза не выжгло. Доказательством истинности моих слов служит то, что целую неделю от моей бороды несло паленым, а что может красноречивее свидетельствовать о нечистой природе сего чудища?

— Да вы почитаете нас дурачками, братец, — воскликнул аббат, — ваша жаба с кошачьей головой не более достоверна, чем нимфа сидящего против вас господина философа. И вообще все это лишь мерзостные выдумки.

Философ залился смехом.

— Брат Ангел никак не мог видеть саламандру, являющуюся мудрецам, — пояснил он. Когда Нимфа, обитательница огня, завидит по случайности капуцина, она спешит повернуться к нему спиной.

— Ха! Ха! Ха! — захохотал батюшка, — Спина нимфы... Да, для капуцина и это уж чересчур жирно.

И, так как к нему вернулось доброе расположение духа, он отрезал братцу изрядный кусок паштета.

Матушка поставила посреди стола блюдо с жарким и, воспользовавшись подходящим случаем, рискнула спросить, являются ли саламандры добрыми христианками, в чем она сомневается, ибо ни разу ни от кого не слыхивала, чтобы твари, обитающие в огне, славили имя господа.

— Сударыня, — ответил аббат, — многие богословы из ордена иезуитов признавали существование инкубов и суккубов, которые по сути дела не являются демонами, коль скоро при окроплении святой водой не бросаются в бегство, но и не принадлежат к господней церкви, ибо духи небесные никогда не посягнули бы на жену булочника, как то произошло в Перудже. Но если вам угодно выслушать мое мнение, знайте же, что все это — пустые басни, измышленные грязным воображением ханжи, а отнюдь не умозаключения ученого мужа. Всяческого презрения достойна эта нелепая чертовщина, и весьма прискорбно то обстоятельство, что сыны церкви, просвещенные христианством, создают о вселенной и боге представление, уступающее в величии тому, что мыслили о сем предмете Платон или Цицерон, пребывавшие во мраке язычества. И я осмелюсь утверждать, что дух господень более ощутим в «Сне Сципиона»^[22], нежели в туманных трактатах по демонологии, чьи авторы мнят себя христианами и добрыми католиками.

— Поостерегитесь, господин аббат, — прервал его философ. — Ваш Цицерон говорил легко и красно, но этот человек заурядного ума был невеждой в тайных науках. Разве вы ничего не слышали о Гермесе Трисмегисте и об «Изумрудных таблицах»? ^[23]

— Сударь, — возразил аббат, — я обнаружил в библиотеке епископа Сэзского весьма древнюю рукопись «Изумрудных таблиц» и несомненно рано или поздно сумел бы ее разобрать, если бы горничная супруги судьи не отправилась в Париж искать счастья и не усадила бы вместе с собой в почтовую карету и меня. И в том не было никакой магии, господин философ, я лишь повиновался чарам естества:

Non facit hoc verbis; facie tenerisque lacertis
Devoret et flavis nostra puella comis.^[24]

— Вот вам еще одно доказательство, — подхватил философ, — что женщины являются злейшими врагами науки. Поэтому-то мудрец должен остерегаться всяких с ними отношений.

— Даже в законном браке? — осведомился батюшка.

— В законном браке особенно, — подтвердил философ.

— Увы, куда же тогда идти вашим несчастным мудрецам, когда им припадет охота немного позабавиться? — рискнул батюшка снова спросить гостя.

— Пусть идут к саламандрам, — отвечивал философ.

При этих словах брат Ангел оторвался от жаркого и со страхом взглянул на незнакомца.

— Не говорите так, любезный сударь, — зашептал он, — во имя всех святых нашего ордена, не говорите так! И не упускайте из виду, что саламандра тот же дьявол, который, как известно, может принимать любые обличья: то он предстает в соблазнительном виде, удачно скрывая свое прирожденное уродство, то в отвратном, если не желает приукрашивать свою подлинную статью.

— Поберегитесь и вы тоже, брат Ангел, — ответил философ, — и коль скоро вы страшитесь дьявола, бойтесь прогневить его, не раздражьте его своими опрометчивыми словами. Вы же знаете, что извечный враг, заклятый отрицатель, до сего времени имеет в мире духа такую силу, что даже господь бог вынужден с ним считаться. Более того: сам господь боится его и держит при себе в качестве доверенного лица. Поостерегитесь, братец: они стакнулись меж собой.

Услышав подобные речи, злосчастный капуцин решил, что не кто иной, как сам дьявол собственной персоной вещает пред ним, тем паче что пылающим взором, крючковатым носом, смуглым цветом лица, всей своей длинной сухопарой фигурой незнакомец и впрямь походил на нечистого. Душа святого братца, и без того потрясенная, окончательно погрузилась в бездну священного ужаса. Он затрепетал всем телом, словно лукавый уже коснулся его своим когтем, незаметно припрятал в суму самые лакомые куски, которые ему удалось стащить со стола, тихонечко поднялся с места и, пятясь, добрался до двери, бормоча заклинания.

Но философ и бровью не повел. Из кармана камзола он вытащил книжицу в сморщенном пергаментном переплете и, раскрыв ее; протянул

нам с аббатом. Взглянув на старинный греческий текст, полный к тому же сокращений и лигатур, я подумал было, что это просто тарабарщина, но г-н аббат Куаньяр, нацепив очки и отодвинув книгу на требуемое расстояние, начал бойко разбирать письмена, похожие скорее на клубок ниток, перепутанных кошкой, нежели на простые и спокойные литеры моего св. Иоанна Златоуста, по которому я изучал язык Платона и евангелия. Окончив чтение, аббат произнес:

— Сударь, это место можно перевести следующим образом: «Те египтяне, каковые почитаются образованными, прежде всего изучают народное письмо, именуемое эпистологографическим, затем священные письмена, коими пользуются писцы при храмах, и, наконец, иероглифы».

Засим, сняв очки и торжествующе потрясая ими, он добавил:

— Ага, господин философ, нас на кривой не объедешь. Это извлечение из пятой книги «Строматов», автор которой, Климент Александрийский^[25], не попал в житие святых в силу различных причин, которые весьма убедительно изложил его святейшество папа Бенедикт Одиннадцатый, и главная из них заключается в том, что вышеназванный отец церкви нередко заблуждался в вопросах веры. Не думаю, чтобы это обстоятельство нанесло ему существенный изъян, особенно если учесть, что в течение всей своей жизни он в силу философских соображений всячески чурался мученичества. Мученичеству он предпочел изгнание и, будучи человеком порядочным, не допустил своих преследователей до преступления. Писал же он весьма изящно; обладал острым умом, нравами славился чистыми, даже суровыми. Больше всего на свете он любил иносказание и салат латук.

Философ протянул через стол руку, которая — так мне во всяком случае почудилось — внезапно приобрела поистине нечеловеческую длину, и взял книгу, лежавшую перед моим ученым наставником.

— Достаточно, — объявил он, пряча «Строматы» в карман. — Вы, господин аббат, как я вижу, вполне разумеете по-гречески. Вы довольно точно разъяснили это место, если говорить о буквальном и вульгарном его истолковании. Мне хотелось бы взять на себя заботы об устройстве вашей судьбы, равно как и судьбы вашего питомца. Вы оба пригодитесь мне для перевода греческих текстов, которые я получил из Египта.

Потом он обернулся к батюшке:

— Полагаю, господин харчевник, что вы согласитесь отпустить ко мне вашего сына, чтобы с моей помощью он стал человеком ученым и почтенным. Ежели разлука с ним нанесет слишком чувствительный удар вашим отцовским чувствам, я согласен нанять за свой счет поваренка,

чтобы он заменил этого юношу у вертела.

— Коли вы, ваша милость, так рассудили, — ответил батюшка, — я не стану препятствовать счастью своего сына.

— При том условии, — вмешалась матушка, — что это не пойдет в ущерб спасению его души. Поклянитесь мне, сударь, что вы добрый христианин.

— Барб, — сказал батюшка, — вы святая и достойная женщина, но вынуждаете меня просить извинения у нашего гостя за ваши нелюбезные речи, чему причиной, откровенно говоря, не столько недостаток природных добродетелей, сколько скудость образования.

— Не прерывайте эту славную женщину, — воскликнул философ, — пусть будет она спокойна: я человек глубоко верующий.

— Вот и чудесно! — отозвалась матушка. — Каждый должен чтить святое имя господне.

— Я чту все его имена, сударыня, ибо их у него множество. Он зовется Адонаи, Тетраграмматон, Иегова, Отей, Атанатос и Исхирос. И еще многими другими.

— Не слыхивала о таких, — ответила матушка. — Но ваши слова, сударь, меня не удивляют; я ведь давно заметила, что чем знатнее человек, тем больше у него имен, не в пример простолюдинам. Сама-то я родом из Оно, это неподалеку от города Шартра, и была еще совсем крошкой, когда скончался наш сеньор, и вот я прекрасно помню, что, когда глашатай извещал жителей о кончине сеньора, он называл, его чуть ли не всеми именами, какие есть в святцах. Ясно, что у господя бога еще больше имен, чем у сеньора Оно, ведь и положение-то у него еще выше. Большое счастье выпало людям образованным — знать все эти имена. И если вы, сударь, направите сына моего Жака на путь таких знаний, я буду вам весьма признательна.

— Итак, дело решено, — заключил философ. — А вам, господин аббат, вам, полагаю, перевод с греческого доставит удовольствие; за приличную мзду, разумеется.

Добрый мой наставник с минуту старался выловить из хаоса мыслей те, которые еще не окончательно утонули в винных парах, потом налил чарку, поднялся и сказал:

— Господин философ, всем сердцем принимаю ваше великодушное предложение. Кто из смертных может сравняться с вами? И я горжусь, сударь, тем, что отдаю себя в ваше распоряжение. Существуют два предмета, к коим я питаю безграничное уважение: это ложе и стол. Стол, который попеременно заставляют то учеными книгами, то изобильными

блюдами, служит основой для принятия как телесной, так и духовной пищи; ложе благоприятствует не только безмятежному отдохновению, но и жестокостям любви. Лишь богочеловек мог даровать чадам Девкалиона^[26] ложе и стол. Ежели, сударь, я обнаружу у вас два сих бесценных предмета, я возвеличу ваше имя, как своего благодетеля, бессмертной хвалой и прославлю вас в стихах греческих и латинских, прибегая к различным размерам.

Он замолк и осушил чарку.

— Вот это хорошо, — отозвался философ. — Жду вас завтра обоих к себе с утра. Сначала идите по Сеи-Жерменской дороге, пока не достигнете Саблонского креста. От подножья этого креста отсчитайте сотню шагов на запад, и вы упретесь в зеленую калитку, прорубленную в садовой ограде. Постучитесь молотком, изображающим фигуру под покрывалом, приложившую палец к губам. А когда старик отопрет вам дверь, спросите господина д'Астарака.

— Сын мой, — обратился ко мне мой добрый наставник, потянув меня за рукав, — запечатлей все это в своей памяти, удержи в ней и крест и молоток и все прочее, дабы завтра мы без труда отыскали благословенную дверь. А вы, господин меценат...

Но философ уже скрылся, и никто из нас не успел заметить, как он исчез.

* * *

На другой день, на рассвете, мы с наставником уже брели по Сен-Жерменской дороге. От земли, укрытой пеленою снега, и до самых небес, позлащенных зарею, стояла немая, глухая тишина. Дорога была пустынна. Мы шагали по глубоким колеям, проложенным колесами среди огородов, расшатанных заборов и низеньких домишек, окна которых подозрительно косились нам вслед. Потом, миновав две-три глинобитные полуразвалившиеся лачуги, мы увидели посреди унылой равнины Саблонский крест. В полсотне шагов от него раскинулся огромный парк, обнесенный наполовину обвалившейся стеной. В стене этой была пробита зеленая калитка, и висящий над ней молоток изображал какое-то страшилище, приложившее к губам палец. Руководствуясь описанием философа, мы без труда признали его жилище и пустили в ход молоток.

После довольно долгого ожидания калитку открыл старик слуга и, сделав знак следовать за ним, повел нас запущенным парком. Статуи нимф, видевшие покойного государя еще молодым, скрывали под завесой плюща свою грусть и свое убожество. В конце бугристой аллеи, припорошенной снежком, возвышался замок, сложенный из камня и кирпича, столь же мрачный, как и сосед его, Мадридский замок; увенчанный высокой шиферной крышей, он напоминал жилище Спящей Красавицы.

Пока мы шествовали вслед за безмолвным слугой, аббат шептал мне на ухо:

— Признаюсь тебе, сын мой, это строение отнюдь не веселит глаз. Оно свидетельствует о суровости нравов, в которых еще коснели французы во времена Генриха Четвертого^[27], и вся эта мерзость запустения переполняет душу печалью, даже меланхолией. Куда как приятнее было бы бродить по волшебным склонам Тускулума^[28], в надежде услышать слово Цицерона, трактующего о добродетели в тени пиний и фисташковых деревьев на своей вилле, столь драгоценной для философов. И заметил ли ты, сын мой, что на этой дороге нет ни одного кабачка, ни одной харчевни; значит, чтобы выпить стакан вина, надо по меньшей мере пройти по мосту и берегом добраться до площади Пастушек? Правда, помнится, что там есть постоянный двор под вывеской «Красный конь», куда госпожа Сент-Эрнест водила меня обедать вместе со своей мартышкой и своим любовником. Ты и представить себе не можешь, Турнеброш, до чего ж там изысканная кухня! «Красный конь» славится не только своими утренними трапезами,

но и числом лошадей и почтовых карет, которые там сдаются в наем. Я имел случай убедиться в этом собственными глазами, так как забрел на конюшню, преследуя одну служаночку, которая показалась мне миловидной. Но миловидной она не была; вернее было бы назвать ее просто уродливой. Это я, сын мой, разукрасил ее пламенем своих желаний. Таков удел человека: когда он руководствуется только своими чувствами, он заблуждается наиплачевнейшим образом. Нас вводят в соблазн обманчивые грезы; мы бросаемся в погоню за мечтой и заключаем в объятия бесплотную тень; лишь в одном только господе боге — истина и постоянство.

Тем временем мы, предшествуемые стариком слугой, уже подымались по разошедшимся ступеням лестницы.

— Увы! — шепнул мне на ухо аббат. — Мне уже взгрустнулось при мысли о харчевне вашего батюшки, где мы лакомились сочными кусками, толкуя творения Квинтилиана.

Мы поднялись по широкой каменной лестнице на второй этаж, и слуга ввел нас в залу, где господин д'Астарак писал что-то возле ярко пылавшего камина; здесь вдоль стен стояли египетские саркофаги, напоминавшие своими очертаниями формы человеческого тела, а с раскрашенных футляров на вошедшего глядели позолоченные лики с продолговатыми блестящими глазами.

Господин д'Астарак учтиво предложил нам присесть и заговорил:

— Я вас ждал, господа. И коль скоро вы оба любезно согласились отдать себя в мое распоряжение, прошу вас почитать этот дом своим. Вам предстоит переводить греческие тексты, вывезенные мною из Египта. Не сомневаюсь, что вы приметесь за работу с должным рвением, особенно же узнав, что она имеет непосредственное касательство к предпринятым мною трудам, цель коих вновь возратить человеку утраченную им науку властвовать над стихиями. Хоть я не собираюсь сегодня же снимать перед вами покровы, скрывающие природу, и показывать вам Изиду^[29] во всей ее ослепительной наготе, я все же намерен открыть вам предмет моих изысканий, не опасаясь, что вы разгласите эту тайну, ибо уверен в вашей честности, равно как в собственном своем даре предугадывать и предвидеть все, что злоумышляется противу меня, не говоря уж о том, что в качестве орудия мести в моем распоряжении имеются тайные и ужасные силы. Буде вы нарушите верность, чего я, впрочем, не думаю, данная мне власть, господа, станет порукой вашему молчанию, так что, открывшись вам, я ничем не рискую. Ведайте же, что человек вышел из рук Иеговы, наделенный совершенным знанием, впоследствии утраченным.

Появившись на свет, он отличался чрезвычайным могуществом и мудростью. Об этом свидетельствуют книги Моисея. Но их надо читать умеючи. Из них в первую очередь явствует, что, поскольку Иегова создал наш мир, его должны полагать не богом, а великим демоном. Идея бога, как силы одновременно созидающей и совершенной, не что иное, как устаревшие бредни, варварство, достойное дикаря-саксонца или невежды, Какой человек, мало-мальски образовавший свой ум, станет утверждать, что существо совершенное может хоть что-либо прибавить к своему совершенству? Такое заключение противоречит здравому смыслу. Бог не предается размышлению. Ибо, будучи бесконечен, о чем может он мыслить? Он не создает ничего, ибо не имеет представления о времени и пространстве, каковые суть необходимейшие предпосылки для любого созидания. Моисей был слишком сведущий философ и не утверждал поэтому, будто мир создан богом. Он почитал Иегову тем, чем был Иегова в действительности, иначе говоря, могущественным Демоном, и, ежели уж требуется быть точным — Демиургом.

Итак, сотворив человека, Иегова передал ему знание мира видимого и мира невидимого. Грехопадение Адама и Евы, речь о котором пойдет в свое время, не окончательно лишило этих знаний первого мужчину и первую женщину, которые передали полученные ими сведения потомкам. Эти знания, каковые суть главнейшие условия власти человека над природой, записаны в книге Еноха^[30]. Египетские жрецы сохранили эти предания и запечатлели их таинственными письменами на стенах храмов и на гробницах. Моисей, выросший в святилищах Мемфиса, был одним из таких посвященных. Его книги, счетом пять, даже шесть, заключают, наподобие бесценных ковчегов, сокровища божественного знания. Там можно обнаружить величайшие тайны, если только уметь очистить первоначальный текст от позднейших позорящих его вставок и добавлений, пренебечь буквальным и прямым смыслом, дабы постичь смысл тончайший, чего почти повсюду и удалось мне добиться, как вы увидите из дальнейшего. Однако ж истины, которые подобно непорочным девам оберегались жрецами египетских капищ, стали достоянием александрийских мудрецов, и эти последние еще более обогатили их и увенчали чистейшим золотом, какое завещал Греции Пифагор со своими учениками, а ведь с ним были накоротке духи воздуха. Стало быть, господа, речь идет о том, чтобы исследовать древние книги евреев, иероглифы египтян и трактаты тех греков, которых именуют гностиками, как раз за то, что они являлись обладателями знания. На себя я взял, что и естественно, наиболее важную часть этого пространного труда. Я занят

расшифровкой иероглифов, которыми египтяне покрывали стены храмов, посвященных богам, и гробницы жрецов. Из Египта я вывез немало таких надписей, и в смысл их я проникаю с помощью ключа, обнаруженного мною у Климента Александрийского.

Раввин Мозайд, живущий здесь в уединении, трудится над раскрытием подлинного смысла Пятикнижия. Сей старец весьма сведущ в магии, недаром он прожил целых семнадцать лет добровольным затворником в склепах великой пирамиды, где читал книги Тота^[31]. На вас же, милостивые государи, на ваши знания я рассчитываю для прочтения александрийских манускриптов, которые я самолично собрал во множестве. Не сомневаюсь, вы обнаружите там немало чудеснейших тайн, и я, бесспорно, черпая из этих трех источников знаний — египетского, древнееврейского и греческого, — в скором времени буду располагать теми средствами, которых до сих пор мне еще недостает, дабы полностью подчинить себе природу, как видимую, так и невидимую. Поверьте, я сумею оценить ваши услуги и приобщу вас так или иначе к своему могуществу.

Не стану говорить о более низменных способах признательности. Я так подвинулся в моих философских исследованиях, что деньги меня нимало не заботят.

Тут мой добрый наставник прервал г-на д'Астарака.

— Сударь, — сказал он, — не утаю от вас, что деньги, которые вас не заботят, для меня — предмет вечных забот, ибо я на опыте познал, как трудно их заработать, оставаясь честным человеком или даже не оставаясь таковым. Посему я буду весьма вам признателен, если вы соблаговолите дать мне на сей предмет более определенные заверения.

Движением руки, словно отталкивая какой-то невидимый предмет, г-н д'Астарак успокоил г-на Жерома Куаньяра. А я, с жадностью озираясь вокруг, мечтал об одном: поскорее начать новую жизнь.

По зову хозяина на пороге залы появился тот самый старик слуга, что отпер нам калитку.

— Господа, вы свободны вплоть до полуденной трапезы, — продолжал г-н д'Астарак, — Я буду весьма вам обязан, если вы пройдете в приготовленные для вас комнаты и убедитесь, все ли там есть, что нужно. Критон вас проводит.

Видя, что мы готовы следовать за ним, молчальник Критон вышел и начал подниматься по лестнице. Так мы добрались за ним до самого верха. Здесь, пройдя несколько шагов по длинному коридору, Критон указал нам две опрятные комнаты, где весело горел огонь. Судя по наружному виду

ветхого замка, по его потрескавшимся стенам и подслеповатым оконцам, я даже предположить не мог, что под его крышей можно обнаружить столь уютный уголок. Первым делом я осмотрелся. Наши комнаты выходили в поле, и взор блуждал среди болотистых обрывистых берегов Сены, пока не достигал каменного распятия, венчавшего Мон-Валерьен. Оглядев затем обстановку комнаты, я заметил, что на постели приготовлен серый кафтан, такие же панталоны, шляпа и шпага. На ковре возле кровати, словно нежная супружеская пара, красовались туфли с пряжками, каблуки были составлены вместе, а носки раздвинуты, как будто они обладали знанием светских манер.

При виде этих богатств я не замедлил вынести благоприятное заключение о тароватости нашего хозяина. Желая воздать ему честь, я с превеликим тщанием занялся туалетом и с излишней щедростью осыпал волосы пудрой, полную коробку которой я обнаружил на столике. И наконец, в ящичке комода я нашел сорочку, отделанную кружевами, и белые чулки.

Надев сорочку, чулки, панталоны, жилет и кафтан, зажав под локтем левой руки шляпу и положив кисть правой на эфес шпаги, я стал прохаживаться взад и вперед по комнате, ежеминутно раскланиваясь с собственным изображением в зеркале и горько сожалея, что Катрина-кружевница не может видеть меня в таком изящнейшем наряде.

Должно быть, я еще долго бы вертелся перед зеркалом, если бы в комнату не вошел г-н Жером Куаньяр в новеньких брюжах и в весьма респектабельной рясе.

— Ты ли это, Турнеброш, ты ли это, сын мой? — вскричал он. — Смотри не забывай, что этой новой одеждой ты обязан тем знаниям, какие передал тебе я. Наряды пристали тебе как гуманисту, ибо понятие гуманизма включает также и изящное. Но будь любезен, погляди на меня и согласись, что вид у меня более чем приличный. В таком одеянии я чувствую себя вполне порядочным человеком. Этот господин д'Астарак, на мой взгляд, мужчина великодушный. Жаль только, что поврежден в уме. Но он все же достаточно разумен, коль скоро назвал своего слугу Критоном, что означает судья. Ибо не подлежит сомнению, что наши слуги суть свидетели всех наших поступков. А иногда и вдохновители их. Когда лорд Веруламский, канцлер Англии, которого я не особенно высоко ставлю как философа, но чту как человека ученого, явился в палату в качестве подсудимого^[32], его слуги в богатых ливреях, один вид которых свидетельствовал о роскоши, царившей в канцлерском доме, увидев своего господина, дружно поднялись с места из уважения к нему. Но лорд

Веруламский сказал им: «Садитесь! Вознося вас, пал я так низко». И впрямь, эти мошенники довели его своими тратами до разорения и вынуждали к поступкам, за которые он ответил по суду как мздоимец. Турнеброш, сын мой, пусть пример лорда Веруламского, канцлера Англии и автора «Novum organum»^[33] послужит тебе предостережением. Но обратимся к сеньору д'Астараку, коему мы служим ныне, и посетуем, что он колдун и предался чернокнижию. Тебе известно, сын мой, что в вопросах веры я донельзя щепетилен. Мне претит услужать кабалисту, который переворачивает Священное писание вверх тормашками под тем предлогом, что так-де оно становится понятнее. Но, судя по имени и произношению, господин д'Астарак гасконский дворянин, и, следовательно, бояться нам нечего.

Пусть гасконец продает свою душу дьяволу; будь уверен, дьявол непременно окажется в накладе.

Колокол, призывавший нас к трапезе, прервал речь аббата.

— Турнеброш, сын мой, — говорил мой добрый наставник, спускаясь с лестницы, — постарайся за обедом следить за моими манерами и подражать им. Недаром же сидел я за третьим столом епископа Сеэзского; я понимаю что к чему. Нелегкое это искусство. Ибо держать себя за столом, как полагается дворянину, куда труднее, нежели вести дворянские речи.

* * *

В столовой уже ждал накрытый на три персоны стол, и г-н д'Астарак пригласил нас занять места.

Критон, исправлявший обязанности дворецкого, подавал желе, отвары и различные пюре, десятки раз пропущенные сквозь сито. Ничто не предвещало появления жаркого. Хотя мы с моим добрым наставником изо всех сил старались скрыть свое изумление, г-н д'Астарак угадал наши мысли и обратился к нам со следующей речью:

— То, что вы видите здесь, господа, не что иное, как опыт, и если он покажется вам не особенно удачным, я не намерен упорствовать. Я прикажу подавать вам впредь привычные блюда, да и сам не откажусь отведывать их. Ежели кушанье, которым я угощаю вас нынче, приготовлено неудачно, то повинен в этом не столько мой повар, сколько химия, находящаяся еще в пеленках. Тем не менее сегодняшняя трапеза даст вам представление о трапезах будущего. В наши дни люди просто принимают пищу, а не вкушают ее по-философски. Они питаются не так, как подобает питаться существам разумным. Даже и не думают об этом. Но о чем же они тогда думают? Огромное большинство их коснеет в тупости, ну а те, что одарены способностью размышлять, забивают себе мозги всякой ерундой, я имею в виду бессмысленные словопрения и поэтику. Судите сами, господа, как питаются люди с тех незапамятных времен, когда от них отступились сильфы и саламандры. Прекратив общение с духами воздуха, они погрязли в невежестве и варварстве. Жалкие людишки, не знавшие ни благочиния, ни ремесел, ни одежд, они ютились в пещерах по берегам рек или в лесных чащах. Охота была единственным их промыслом. Когда им удавалось застичь врасплох или опередить в быстроте боязливую лань, они пожирали свою добычу живьем.

Не брезговали они также мясом своих сородичей и престарелых родителей, так что первой гробницей человека была ходячая могила — ненасытная и глухая ко всему утроба. После долгих веков жестокости появился человек, равный богам, коего греки нарекли Прометеем. Вне всякого сомнения, сей мудрец в приюте нимф общался с племенем саламандр. От них он перенял искусство добывать и поддерживать огонь, преподанное им жалким смертным. Среди всех прочих неисчислимых преимуществ, какие человек сумел извлечь из этого божественного дара, самым благодетельным безусловно было то, что отныне он мог варить

пищу и, пользуясь этим, делать любую снедь более удобоваримой и нежной. И, пожалуй, именно благодаря влиянию на человека пищи, подвергшейся действию огня, люди начали медленно и постепенно набираться разума, научились размышлять, стали более предприимчивы, получили возможность развивать искусства и науки. Но то был лишь первый шаг, и прискорбно думать, что протекли миллионы лет, а второй шаг все еще не сделан. С того самого времени, когда наши предки, устроившись у подножья скалы, разводили из хвороста костер и жарили медвежатину, в области кухни не достигнуто настоящего прогресса. Ибо не считаете же вы, конечно, господа, прогрессом кулинарные ухищрения Лукулла и тот тяжелый пирог, который с легкой руки Вителлин зовется «минервин щит», равно как и все наши жаркие, паштеты, тушеные мяса, фаршированные грудинки и прочие фрикассе, весьма сильно отдающие варварством.

Королевский стол в Фонтенебло, где подают на блюде целого оленя в шерсти и с рогами, для взоров истого философа являет собой столь же неприглядное зрелище, как трапеза троглодитов, усевшихся на корточках прямо в золе костра и гложущих лошадиные кости. Ни роскошная роспись стен, ни королевская стража, ни пышные ливреи лакеев, ни музыканты, играющие на хорах мелодии Ламбера и Люлли^[34], ни шелковые скатерти, серебряные блюда, золоченые кубки, венецианское стекло, факелы, чеканные вазы для цветов — ничто не может ни ввести вас в заблуждение, ни набросить покрывало очарования на истинную природу этой гнусной бойни, где кавалеры и дамы расселись вокруг трупов животных, раздробленных костей и разодранного на куски мяса с единственной целью поскорее набить себе брюхо. О, вот уж где поистине пища не может послужить философу, Мы тупо и жадно обжираемся мускулами, жиром, потрохами животных, даже не потрудившись разобраться, какие из этих частей действительно пригодны для еды, а какие — и таких большинство — следует отбросить прочь; и мы поглощаем все подряд: и плохое, и хорошее, и вредное, и полезное. А именно здесь-то и необходим выбор, и будь на всем факультете хоть один медик, он же химик и философ, нам не пришлось бы становиться свидетелями и участниками этих омерзительных пиршеств.

Такой ученый муж, господа, готовил бы нам мясо, подвергшееся перегонке и содержащее потому лишь те элементы, которые находятся в соответствии и родстве с нашей собственной плотью. Мы питались бы квинтэссенцией быков и свиней, эликсиром из куропаток и пулярок, и все, что попадало бы нам в желудок, переваривалось бы без затруднений. Я

надеюсь, господа, раньше или позже успешно разрешить эту задачу, если сумею посвятить более досуга, чем до сих пор, изучению химии и медицины.

При этих словах г-н Жером Куаньяр поднял взор от тарелки, на доньшке которой стыла бурая размазня, и тревожно взглянул на нашего хозяина.

— Но и это, — продолжал г-н д'Астарак, — все еще нельзя будет считать настоящим прогрессом. Порядочный человек не может без отвращения пожирать мясо животных, и ни один народ не смеет почитать себя просвещенным, пока в городах имеются бойни и мясные ряды. В один прекрасный день мы избавимся от этих варварских промыслов. Когда мы узнаем точно, какие именно питательные субстанции заключены в теле животных, не исключена возможность, что мы сумеем добывать эти самые вещества в изобилии из тел неживой природы. Ведь тела эти содержат все, что заключено в одушевленных существах, поскольку животные ведут свое происхождение от растительного мира, а он в свою очередь почерпнул необходимые ему вещества из неодушевленной материи.

Таким образом, мы будем вкушать металлические и минеральные экстракты, которые нам изготовят искусные физики. Не бойтесь, на вкус они будут упоительны, поглощение их оздоровит человеческий организм. Пища будет вариться и жариться в ретортах и перегонных кубах, а место наших поваров займут алхимики. Признайтесь же, господа, вам не терпится увидеть все эти чудеса въяве. Ручаюсь, вскорости вы их и увидите. Но вы и представления не имеете, какое действие они окажут.

— И впрямь, сударь, не имею, — отозвался мой наставник, отхлебнув глоток вина.

— В таком случае разрешите мне закончить свою мысль, — продолжал г-н д'Астарак. — Коль скоро пищеварение перестанет быть медлительным и одуряющим процессом, люди приобретут неслыханную подвижность; их зрение обострится до крайних пределов, и они без труда разглядят корабли, скользящие по лунным морям. Рассудок их прояснится и нравы смягчатся. Они преуспеют в познании бога и природы.

Но мы должны предвидеть все вытекающие отсюда перемены. Само строение человеческого тела претерпит изменения. Те или другие органы, не будучи упражняемы, утончатся, а то и вовсе исчезнут — таков непреложный закон. Уже давно замечено, что глубоководные рыбы, лишённые дневного света, слепнут; я сам свидетель тому, что пастухи в Валэ, питающиеся одной простоквашей, до времени теряют зубы; а кое у кого из них зубы и вовсе не прорезались. Так воздадим же должное мудрой

природе, которая не терпит ничего бесполезного. Когда люди станут питаться вышеупомянутым бальзамом, их внутренности сократятся на несколько локтей и соответственно уменьшится объем живота.

— Позвольте, позвольте, — вскричал мой добрый учитель, — слишком уж вы торопитесь, сударь, глядите, как бы не наделать беды. Я лично никогда не ставил женщине в вину округлый живот, если, конечно, все прочее ему под стать. Я неравнодушен к этому виду красоты. Так не рубите же сплеча.

— Не беспокойтесь. Пусть в своих изгибах дамские талии и бедра следуют канонам греческих ваятелей. Таким образом, господин аббат, будут приняты во внимание и ваши вкусы и труды материнства; хотя, по правде сказать, я намереваюсь и сюда внести кое-какие изменения, о которых в свое время сообщу вам. Возвращаясь к теме нашего разговора, должен признаться, что все изложенное мною выше — лишь приближение к истинному питанию, то-есть питанию сильфов и всех духов воздуха. Они впивают свет, и этого вполне достаточно, чтобы придать их телу силу и неслыханную гибкость. Это их единственное питье. Рано или поздно оно станет и нашим единственным питьем, господа. Остановка лишь за тем, чтобы сделать годными для усвоения солнечные лучи. Признаюсь, что мне еще не совсем ясны пути достижения цели, и я предвижу множество помех и препятствий. Но если какой-нибудь мудрец добьется успеха, люди сравнятся умом и красотой с сильфами и саламандрами.

Мой добрый учитель слушал эти речи, уныло ссутулившись и понурился. Мне показалось, что он уже видит мысленным взором те изменения, какие внесет в его организм пища, над изобретением которой трудится наш хозяин.

— Сударь, — промолвил он наконец, — если не ошибаюсь, вы говорили давеча в харчевне о некоем эликсире, который может заменить всякую иную пищу?

— Говорил, — отозвался г-н д'Астарак, — но питье это пригодно лишь для философов, и потому вы можете заключить, сколь ограничено его применение. Поэтому не стоит о нем и толковать.

Тем временем меня терзал неразрешимый вопрос; я попросил у нашего хозяина позволения изложить мучившие меня мысли, надеясь, что он не замедлит разрешить мои сомнения. Получив его согласие, я заговорил:

— Сударь... неужели саламандры, которые, по вашим словам, столь прекрасны и которые с вашей помощью предстали передо мной во всем их очаровании, неужели они, потребляя солнечные лучи, по несчастью

испортили себе зубы на манер пастухов из Валэ, кои лишились этого украшения, питаюсь одним молоком? Смею вас уверить, этот вопрос меня весьма тревожит.

— Сын мой, — отвечал г-н д'Астарак, — ваша любознательность мне по душе, и я попытаюсь ее удовлетворить. У саламандр нет зубов, в том смысле, как мы это понимаем. Зато десны их украшены двумя рядами жемчужин редкостной белизны и блеска, что придает их улыбке несказанную прелесть. Запомните к тому же, что жемчуг этот не что иное, как затвердевшие лучи.

Я ответил г-ну д'Астараку, что весьма рад этому обстоятельству. А он продолжал:

— Зубы человека есть знак его жестокости. Когда люди будут питаться как должно, место зубов займут драгоценности, подобные жемчужинам саламандр. И тогда уж никто не поверит, что было время, когда влюбленный мог без ужаса и отвращения видеть, как из-за губок его милой выглядывают собачьи клыки.

* * *

После трапезы наш хозяин провел нас в просторную галерею, соседствовавшую с его кабинетом и служившую библиотекой. Нашему взору предстало бесчисленное воинство, или, вернее говоря, вселенский собор выстроившихся на дубовых полках книг in 12°, in 8°, in 4°, in folio в самых разнообразных одеяниях — из телячьей кожи, из сафьяна обычного, из сафьяна турецкого, из пергамента и свиной кожи. Полдюжины окон освещали это безмолвное сборище, расположившееся вдоль высоких стен, из одного конца галереи в другой. Середину залы занимали длинные столы, расступившиеся, чтобы дать место небесным сферам и астрономическим приборам. Г-н д'Астарак любезно предложил каждому из нас выбрать себе место, наиболее удобное для предстоящих трудов.

Но добрый мой наставник, запрокинув голову, пожирал взором и дыханием уст своих все эти тома и даже пустил от удовольствия слюну.

— Клянусь Аполлоном! — воскликнул он. — Что за великолепное собрание! Как ни богата была библиотека господина епископа Сеэзского трудами по церковному праву, она ничто против этой. Даже пребывание в полях Елисейских, воспетых Вергилием^[35], было бы мне не столь сладостным. Беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться в наличии здесь редчайших книг и ценнейших коллекций, представленных в таком изобилии, что, полагаю, сударь, с вашей библиотекой не сравнится ни одно частное собрание во Франции и уступает она разве только библиотеке Мазарини и королевской. Осмелюсь даже утверждать, что один лишь вид этой груды латинских и греческих рукописей, сложенных вон в том углу, позволяет в ряду с такими книгохранилищами, как Бодлеенское, Амвросианское, Лауренцианское и Ватиканское, назвать, сударь, и Астаракианское. Скажу не хвастаясь, я уже издали нюхом чую трюфели и книги, и отныне я числю вас, сударь, в одном ряду с Пейреском, Гролье и Каневариусом — князьями книголюбов.

— Куда им до меня, — мягко заметил д'Астарак, — да и библиотека эта неизмеримо более ценна, чем все, которые вы изволили назвать; королевская библиотека в сравнении с моей — лавчонка с книжным хламом, если не принимать в расчет простого количества томов и измаранной бумаги. Прославленные библиотекари Габриэль Ноде и ваш аббат Биньон в сравнении со мной лишь лентяи, пасущие мерзкие стада книг, неразличимых, как овцы в отаре. Что касается бенедиктинцев, не

могу не согласиться, люди они старательные, но уж очень придурковаты, и подбор книг в их библиотеках свидетельствует о посредственности хозяев. Моя галерея, сударь, создана по иному образцу. Труды, собранные мною, образуют целое, которое прямым путем приводит к знанию. Библиотека эта — гностическая, ойкуменическая^[36] и духовная. Ежели все эти строчки, выведенные на бесчисленных листах бумаги и пергамента, вошли бы нерушимым строем в ваш мозг, сударь, вы узнали бы все, все бы могли, стали бы повелителем природы и гончаром вещей; вы держали бы весь мир у себя в щепоти, как держу я между большим и указательным пальцами понюшку табаку.

С этими словами он протянул табакерку доброму моему наставнику.

— Вы весьма любезны, — промолвил аббат Куаньяр. И, по-прежнему обводя восхищенным взглядом эти стены, хранители мудрости, он воскликнул:

— Вот там, меж третьим и четвертым окном, полки несут на себе ценнейший груз. Там встретились восточные рукописи и как бы ведут меж собой беседу. Под одеянием из пурпура и златотканого шелка я приметил с дюжину весьма почтенных особ. Иные на манер византийского императора скрепляют свою мантию рубиновыми застежками. Другие укрыты пластинками из слоновой кости.

— Это труды древнееврейских, арабских и персидских кабалистов, — пояснил г-н д'Астарак. — Вы листаете «Могущественную руку». А рядом вы обнаружите «Накрытый стол», «Верного пастыря», «Обломки храма» и «Свет во тьме». Одно место пусто: здесь стоял бесценный трактат «Медленные воды», но его в данное время изучает Мозайд. Как я вам уже говорил, господа, Мозайд, живущий у меня в доме, старается проникнуть в самые сокровенные тайны, заключенные в писаниях древних евреев, и хотя ему уже перевалило за сотню лет, мой раввин не желает умирать, прежде чем не разберется в смысле кабалистических знаков. Я многим ему обязан и прошу вас, господа, при встречах выказывать ему не меньше почтения, чем выказываю ему я сам.

Но оставим это и перейдем к вопросу, касающемуся вас. Я рассчитываю на вас, господин аббат, как на переписчика и переводчика на латинский язык ценнейших греческих рукописей. Я полностью доверяю вашим знаниям и усердию и отнюдь не сомневаюсь, что этот юноша не замедлит стать вашим надежным помощником.

Затем он повернулся ко мне:

— Да, дитя мое, я возлагаю на вас большие надежды. Они внушены мне прежде всего полученным вами воспитанием, ибо вы были

вскормлены, если так можно выразиться, в пламени, у очага, посещаемого саламандрами. А обстоятельство это не маловажное.

С этими словами он взял связку рукописей и положил ее на стол.

— Сей труд, — сказал он, указывая на свиток папируса, — вывезен из Египта. Это творение Зосимы Панополитанского, которое считалось утерянным и которое я самолично обнаружил в гробнице некоего жреца Сераписа^[37]. А вот это, — добавил он, указывая на обрывки залоснившихся и размочаленных листов, на которых еле виднелись греческие буквы, выведенные кисточкой, — вот это неслыханные откровения, одним из них мы обязаны персу Сафару, а другим — Иоанну, протоиерею святой Евагии.

Если вы первым делом займетесь этими рукописями, я буду вам бесконечно признателен. Затем изучим рукописи Синезия, Птолеманского епископа, Олимпиодора и Стефануса, которые я обнаружил в Равенне, в пещере, где они пролежали со времен царствования неуча Феодосия, прозванного Великим^[38].

Прежде всего, господа, составьте себе общее представление о ждущем вас обширном труде. В глубине залы, направо от камина, вы найдете грамматики и словари, которые мне удалось собрать; они, возможно, помогут вам. Разрешите пока удалиться, в кабинете меня ждут пять-шесть сильфов. Критон позаботится о том, чтобы у вас ни в чем не было недостатка. Прощайте.

Как только г-н д'Астарак скрылся за дверью, мой добрый наставник подсел к столу, где лежал папирус Зосимы, и, вооружившись лупой, оказавшейся под рукой, приступил к расшифровке текста. Я обратился к нему с вопросом — не слишком ли он удивлен всем услышанным?

Не подымая от рукописи головы, учитель ответил мне:

— Сын мой, я знал достаточно разных людей и достаточно испытал превратностей судьбы, чтобы чему-либо удивляться. Этот дворянин на первый взгляд может показаться безумцем, и не потому, что он действительно безумец, а скорее потому, что его мысли слишком уж отличны от образа мыслей людей дюжинных. Однако ж если бы мы с большим вниманием прислушивались к тому, что обычно говорится, то обнаружили бы в людских речах еще меньше смысла, чем в разглагольствованиях нашего философа. Предоставленный самому себе разум человеческий, даже наиболее возвышенный, склонен возводить воздушные замки и храмы, и господин д'Астарак, как видно, понаторел в этой воздушной архитектуре. Нет иной истины, кроме бога; не забывай

этого, сын мой. Но здесь предо мной вьяве лежит «Имуф» — сочинение, принадлежащее перу Зосимы Панополитанского, написанное им для своей сестры Теосебии. Какая честь и какая услада читать эту уникальную рукопись, чудом извлеченную на свет божий! Ей жажду я посвятить свои дневные труды и ночные бдения. От души жалею я, сын мой, невежд, брошенных бездельем в бездну распутства. Что за жалкую жизнь влачат они! Что в сравнении с александрийским папирусом любая женщина? Сравни, прошу тебя, эту благороднейшую библиотеку с кабачком «Малютка Бахус», а беседу, которой тебя удостаивает бесценная рукопись, с ласками, которыми дарят тебе девицы в укромном уголке, и скажи сам, сын мой, где получаем мы истинное наслаждение? Я собеседник муз, завсегдай безмолвных оргий раздумья, воспетых красноречивым Мадорским ритором, я возношу благодарность господу богу, создавшему меня человеком порядочным.

* * *

В течение месяца, а быть может и больше, г-н Куаньяр дни и ночи со всем тщанием предавался, как и обещал, чтению рукописи Зосимы Панополитанского. Даже во время трапез, которые мы по-прежнему делили с г-ном д'Астараком, разговор шел только о воззрениях гностиков и познаниях древних египтян. Будучи всего лишь невежественным школяром, боюсь, я недостаточно умело помогал доброму моему наставнику. Но я трудился, не щадя сил, отыскивал по его указанию нужные места; и делал это не без удовольствия. И действительно, мы жили счастливо и спокойно. К концу седьмой недели г-н д'Астарак отпустил меня повидаться с родителями. Как удивительно уменьшилась в размерах наша харчевня! Я застал там только матушку, печальную и одинокую. Увидев меня в богатом платье, она громко вскрикнула.

— Жак, мой Жак, — твердила она, — как же я тебе рада!

И она залилась слезами. Мы обнялись и расцеловались. Затем, утерев глаза кончиком холщового передника, матушка промолвила:

— Отец твой отправился к «Малютке Бахусу». После того как ты ушел от нас, он все время туда ходит, говорит, что дома стало как-то тоскливо. Вот-то он обрадуется. Но скажи мне, Жак, сынок, хорошо ли тебе теперь живется? Уж как я убивалась, что отпустила тебя к этому сеньору; исповедуясь у господина третьего викария, я призналась ему, что о плоти твоей позаботилась, а о душе нет, и позабыла о господе боге, лишь бы тебя получше пристроить. Господин третий викарий ласково меня пожурил и посоветовал следовать примеру добродетельных жен из Священного писания и назвал их мне целый десяток; но имена у них такие мудреные, что мне их не упомнить. Да и говорил он со мной недолго, я пошла к нему в субботу вечером, и в церкви было полно исповедующихся.

Я как мог успокоил бедную мою матушку, сказав, что по желанию г-на д'Астарака работаю над греческими рукописями, а на греческом языке, как известно, написано святое евангелие. Матушке мои слова пришлось по душе. Однако ж какая-то забота все еще грызла ее.

— Ты никогда, Жако, сынок, не угадаешь, — начала она, — кто говорил мне о господине д'Астараке. Кадетта Сент-Ави, служанка господина кюре из церкви святого Бенедикта. Она сама гасконка, родом из местечка, называемого Ларок-Тембо, это по соседству с Сент-Эвлали, помещьем господина д'Астарака. Ты ведь и сам знаешь, Кадетта Сент-Ави

женщина преклонного возраста, как и подобает служанке кюре. В молодые годы она знавала трех тамошних господ д'Астараков, один из них был капитаном корабля и потом утонул в море. Это самый из них младший. Второй, полковник, пошел на войну, где его и убили. Из всех троих остался в живых только старший, Геракл д'Астарак. Вот ему-то ты и служишь, сынок, надеюсь, к твоему благу. В молодости он был первый щеголь, нрава весьма вольного, хоть и угрюмого. Он сторонился казенных должностей и не искал случая послужить королю не в пример своим братьям, нашедшим достойную кончину. И любил повторять, что не велика честь разгуливать со шпагой на боку, что нет ремесла более низкого, чем ремесло военное, и, по его разумению, последний деревенский костоправ стоит большего, чем бригадир или там маршал Франции. Вот какие он держал речи. По мне-то, признаться, ничего дурного или зловредного тут нет, но уж слишком дерзко да и чудно так говорить. Однако и впрямь достойны такие речи хулы, недаром же говорила Кадетта Сент-Ави, что господин кюре считает подобные слова противными установленному богом порядку и идущими наперекор тому месту библии, где господь бог прямо называется начальником воинства. А это великий грех. Господин Геракл так чурался королевского двора, что даже не пожелал поехать в Версаль, дабы представиться его величеству, хотя по своему происхождению имел на это право. «Король ко мне не едет, — говаривал он, — и я к нему не поеду». А ведь, сынок, всякому ясно, что такого человек в здравом рассудке не скажет.

Добрая моя матушка вопросительно и тревожно взглянула на меня и продолжала:

— А сейчас я тебе, Жако, сынок, скажу такое, что и не поверишь. Но Кадетта Сент-Ави говорит об этом, как о самом достоверном деле. Так вот, слушай. Господин Геракл д'Астарак, оставшись в своем поместье, только тем и занимался, что ловил в графины солнечный свет. Кадетта Сент-Ави сама не знает, как это он ухитрялся, но в одном она уверена, что в этих графинах, тщательно закупоренных и простоявших известное время в горячей водяной бане, мало-помалу появлялись крохотные женщины, стройненькие на диво и разодетые, как принцессы на театре... Не смейся, сынок; до шуток ли, когда смекаешь, к чему все это ведет. Грех-то какой мастерить живые существа, не для них небось святое крещение, да и вечное блаженство им заказано. Что ж, по-твоему, господин д'Астарак взял да собрал свои бутылки и отнес их священнику, чтобы тот окунул в купель этих самых маргышек. Да ни одна порядочная женщина к ним в крестные матери не пошла бы!

— Дражайшая маменька, — ответил я, — а зачем было бы крестить

куколок господина д'Астарака, коли на них нет первородного греха?

— Об этом я как раз и не подумала, — заметила матушка, — и Кадетта Сент-Ави тоже на этот счет ничего не говорила, хоть она и служит у самого господина кюре. На наше горе, она в молодых годах покинула Гасконь и перебралась во Францию и поэтому ничего больше не слыхала ни о господине д'Астараке, ни о его графинах, ни о его мартышках. От души надеюсь, Жако, что он отказался от этого окаянного занятия, ведь тут без помощи нечистого никак не обойтись.

— Скажите, маменька, — спросил я, — а Кадетта Сент-Ави, служанка господина кюре, своими собственными глазами видела этих самых красоток в графине?

— Нет, не видела, сынок. Разве такой скрытник, как господин д'Астарак, кому покажет своих куколок. Но ей рассказывал об этом один церковнослужитель по имени Фульгенций — сам-то он бывал в замке и клялся, что видел, как эти крошки выбираются из своей стеклянной темницы и танцуют менуэт. Как же ей было не поверить? Ведь если можно еще сомневаться в том, что видишь собственными глазами, то в словах честного человека, особенно церковнослужителя, сомневаться-то грех. А уж совсем плохо, что на такие дела уходит пропасть денег: Кадетта Сент-Ави уверяла меня, что трудно даже представить, сколько потратил этот самый господин Геракл на приобретение бутылей различных форм, на горны и на черные книги, от которых у него в замке негде повернуться. Но после смерти братьев он сделался первым богачом во всей округе и хотя ради своих безумных затей бросает деньги на ветер, земли у него плодородные, за него, можно сказать, работают. Кадетта Сент-Ави уверяет, что сколько он ни потратил, все равно он сейчас еще богач.

При этих словах в харчевню вошел батюшка. Он нежно облобызал меня и признался, что без меня и г-на Жерома Куаньяра, человека славного и веселого, дом для него не дом. Он похвалил мой новый наряд и преподал мне урок по части манер, так как, заявил батюшка, торговые занятия приучили его к любезному обхождению, недаром приходится ему приветствовать любого посетителя, даже простолюдина, как знатного дворянина. Он порекомендовал мне при ходьбе округлять локти и держать носки врозь и дал совет отправиться на Сен-Жерменскую ярмарку посмотреть Леандра^[39] и во всем строго ему подражать.

Мы пообедали с отменным аппетитом, а прощаясь, пролили потоки слез. Я был от души привязан к батюшке и матушке и еще горше плакал при мысли, что достаточно оказалось полуторамесячной разлуки, чтобы нам отвыкнуть друг от друга. Полагаю, что то же чувство повергло в печаль

и моих родителей.

* * *

Когда я вышел из харчевни, уже спустилась ночь. На углу улицы Писцов я услышал густой и сочный бас, выводивший:

Коль красotka честь теряет,
Знать, сама того желает.

Оглянувшись в сторону, откуда шел голос, я сразу же признал брата Ангела, который, обняв за талию Катрину-кружевницу, брел в темноте неверным, но победным шагом, за плечами его в такт шагам моталась сума, а из-под сандалий, шлепавших вдоль водосточной канавы, взлетали в воздух снопы грязи, очевидно во славу его беспутного ликования, подобно тому, как версальские фонтаны взметают свои струи во славу королей. Я поспешил укрыться в подворотне за тумбой, надеясь остаться незамеченным. Напрасная предосторожность, ибо они вполне довольствовались обществом друг друга. Положив головку на плечо капучину, Катрина заливалась смехом. Луч луны трепетал на ее влажных устах, в зрачках ее глаз, словно на поверхности родника. И я повернул к замку с уязвленной душой, и гнев переполнял мое сердце при мысли, что округлую талию красотки обвивают лапы грязного монаха.

— Как же возможно, — твердил я про себя, — чтобы столь прекрасное создание находилось в столь мерзостных руках? И если Катрина пренебрегла мной, зачем жестокая еще усугубляет свое презрение, выказывая склонность к этому мерзкому брату Ангелу?» Я становился в тупик перед таким предпочтением, мне оно было и непонятно и омерзительно. Но недаром же был я питомцем г-на Жерома Куаньяра. Сей несравненный наставник привил мне склонность к размышлениям. И тут же в моем воображении возникли сатиры — завсегдатаи волшебных садов, принадлежавших нимфам, и я вывел заключение, что ежели Катрина равна красоте нимфам, то сатиры, какими нам их изображают, столь же богомерзки, как этот капучин. Потому я пришел к мысли, что не следует слишком удивляться увиденному мною. Однако ж голос рассудка не мог рассеять печали, ибо отнюдь не рассудком была она рождена. Так размышлял я в ночном мраке, увязая в месиве из снега и грязи, и, сопутствуемый своими мыслями, добрался до Сен-Жерменской дороги, где

повстречал г-на аббата Жерома Куаньяра, который, отужинав в городе, возвращался на ночь к Саблонскому кресту.

— Сын мой, — воскликнул он, — за столом некоего весьма ученого священнослужителя, какового смело уподоблю Пейреску^[40], беседовали мы о Зосиме и гностиках^[41]. Вино там подавали терпкое, а пищу посредственную. Зато с каждым словом нашим изливались нектар и амброзия.

И мой добрый учитель с редкостным красноречием заговорил о Панополитанце. Увы! Я почти не внимал его речам, я думал о той капле лунного света, что упала во мраке на уста Катрины.

Когда, наконец, аббат умолк, я осведомился, чем именно греки объясняли пристрастие нимф к сатирам. Добрый мой учитель, человек обширных знаний, не имел обыкновения мешкать с ответом на любой вопрос.

— Сын мой, — сказал он, — пристрастие это основано, по мнению греков, на вполне естественной склонности. Будучи достаточно сильным, оно все же не столь пылко, как аналогичная тяга сатиров к нимфам. Поэты весьма тонко подметили различие. Расскажу тебе в связи с этим удивительнейшую историю, которую я вычитал в манускрипте, хранящемся в библиотеке господина епископа Сеэзского. Это сборник — до сих пор вижу его перед собой, — написанный прекрасным почерком, каким писали лишь в минувшем веке. Так вот какой необыкновенный случай сообщается там. Некий нормандский дворянин и его супруга как-то принимали участие в народном гулянии, он — в костюме сатира, она — в костюме нимфы. А еще Овидий рассказывал, с каким пылом преследуют сатиры нимф. Наш дворянин начитался «Метаморфоз» и до того проникся духом изображаемого им сатира, что спустя девять месяцев супруга подарила ему сына, лоб коего украшали рожки, а ноги были с копытцами на манер козлиных. Нам не известна участь родителя, одно достоверно, что, покорный участи всех смертных, он отошел в лучший мир, оставив, помимо своего козлоногого отпрыска, еще и младшего сына, облика вполне человеческого и приобщившегося таинства крещения. Так вот, этот младший братец обратился в суд с просьбой лишить отцовского наследства старшего по той причине, что тот-де не принадлежит к роду человеческому, чьи грехи искупил своей кровью Иисус Христос. Нормандский суд, заседавший в Руане, решил дело в пользу жалобщика, и постановление было утверждено по всей форме.

Я осведомился у доброго моего наставника, неужели простое

переодевание может оказать такое воздействие на человеческую природу и неужели своим обликом младенец обязан лишь перемене платья. Г-н аббат Куаньяр посоветовал мне не доверять таким вещам.

— Жак Турнеброш, сын мой, — промолвил он, — запомни хорошенько, что здравый смысл отрицает все, что входит в противоречие с разумом, за исключением вопросов религии, где потребна слепая вера. Я, слава тебе господи, никогда не мудрствовал лукаво относительно догматов святой нашей веры и уповаю вплоть до смертного своего часа пребывать в подобном же расположении ума.

Так рассуждая, добрались мы до замка. В ночной тьме выступила его кровля, ярко освещенная багровым отсветом. Из трубы вырывались снопы искр и, поднявшись в воздух, тут же падали золотым дождем на землю, не разрывая густой пелены дыма, обволакивавшей небо. Мы оба одновременно подумали, что в замке хозяйничает огонь. Мой добрый учитель, громко стелая, начал рвать на себе волосы:

— Мой Зосима, мои папирусы, мои греческие манускрипты! На помощь! На помощь! Зосима горит!

Что было сил понеслись мы по главной аллее, оступаясь в лужи, окрашенные отсветом пожара, пересекли парк, укрытый густым мраком. Тут было пустынно и тихо. В замке, казалось, все спало. На неосвещенной лестнице, куда, наконец, мы вступили, слышался рев пламени. Перескакивая через две ступеньки, мы то и дело прислушивались, стараясь понять, откуда доносится этот зловеющий шум.

Нам показалось, что идет он из коридора второго этажа, куда мы ни разу еще не заглядывали. Ощупью добрались мы туда и, увидев, что сквозь щель закрытой двери пробивается красноватый отблеск, изо всех сил налегли на створки. Внезапно дверь подалась.

Господин д'Астарак, — это он распахнул двери, — спокойно стоял перед нами. На багровом фоне черным силуэтом вырисовывалась его длинная фигура. Он учтиво осведомился, какое срочное дело привело нас сюда в столь поздний час.

Нет, не пламя пожара освещало комнату, а свирепый огонь, выбивавшийся из огромной отражательной печи, которая, как мне стало известно впоследствии, зовется атанором. Вся зала — помещение обширных размеров — была сплошь заставлена склянками с узким горлышком, над которыми причудливо изгибались стеклянные трубки, заканчивавшиеся краном в виде утиноного клюва; были здесь и приземистые реторты с раздутыми боками, похожие на щекастое лицо, на котором торчит нос наподобие хобота, тигели, длинногорлые колбы, пробирные

чашечки, перегонные кубы и иные сосуды непонятных форм.

Утирая мокрое лицо, пылавшее, как раскаленные уголья, мой добрый учитель промолвил:

— Ах, сударь, мы думали, что весь замок охвачен огнем, точно стог сухой соломы. Хвала господу, библиотека цела. Но я вижу, сударь, вы занялись алхимией.

— Не скрою от вас, — отвечивал г-н д'Астарак, — что хотя я немало продвинулся в этом искусстве, я все еще не нашел секрета, необходимого для окончательного совершенствования моих трудов. В ту самую минуту, господа, когда вы ломались в двери, я добывал Вселенский Дух и Небесный Цветок, которые есть не что иное, как истинный источник молодости. Вы хоть что-нибудь смыслите в алхимии, господин Куаньяр?

Аббат ответил, что из книг составил себе кое-какое представление о сем предмете, но, по его мнению, занятие алхимией злокозненно и противоречит святой вере. Г-н д'Астарак улыбнулся его словам.

— Вы, господин Куаньяр, человек сведущий и бесспорно слышали и про Летающего Орла, и про Птицу Гермеса, и про Курицу Гермогена, и про Голову Ворона, и про Зеленого Льва, и про Феникса.

— Слышал, — подтвердил мой добрый учитель, — и знаю, что именами этими называют философский камень в различных его состояниях. Однако ж сомневаюсь, чтобы с помощью его можно было превращать металлы.

На это г-н д'Астарак хладнокровно отвечивал:

— Нет ничего легче, чем положить конец вашим сомнениям, сударь.

Он открыл старенький колченогий поставец, прислоненный к стене, вынул оттуда медную монету с изображением нашего покойного государя и указал на круглое пятно, видимое и с орла и с решки.

— Таково, — промолвил он, — воздействие камня, с помощью коего медь превращена в серебро. Но это лишь детская забава.

Вновь повернувшись к поставцу, он достал оттуда сапфир величиной с куриное яйцо, затем необыкновенно крупный опал и горсть изумрудов редчайшей красоты.

— Перед вами, — заключил он, — кое-какие плоды моих трудов, доказывающие со всей убедительностью, что искусство алхимии отнюдь не игра праздного ума.

На дне ларчика, где хранились драгоценные каменья, лежало с полдюжины крошечных алмазов, о которых г-н д'Астарак даже не упомянул. Добрый мой наставник обратился к нему с вопросом, не его ли искусству обязаны эти алмазы своим появлением на свет, и, получив

подтверждение, воскликнул:

— Осмелюсь, сударь, посоветовать вам, благоразумия ради, показывать первым долгом эти розочки. Ежели вы сначала предъявите сапфир, опал и рубин, каждый справедливо заключит, что подобные камни могут быть творением одного лишь дьявола, и вас притянут к суду по обвинению в колдовстве. В равной мере один лишь дьявол способен благоденствовать среди этих горнов огнедышащих. Что касается меня, то, пробыв здесь всего четверть часа, я уже наполовину изжарился.

Господин д'Астарак снисходительно улыбнулся и, провожая нас к выходу, повел такую речь:

— Досконально зная, как надлежит мне относиться к вопросу о подлинном существовании дьявола и того, другого, я охотно беседую об этом предмете с верующими людьми. Оба они — дьявол и тот, другой, как говорится, характеры собирательные; и, следовательно, о них можно рассуждать, как, скажем, об Ахилле и Терсите. Будьте благонадежны, милостивые государи, ежели дьявол таков, каким мы его себе представляем, он не может жить в столь деликатной стихии, как огонь. Величайшая из нелепостей предоставить солнцу в распоряжение столь зловредной твари. Но я, господин Турнеброш, уже имел честь объяснить капуцину вашей матушки, что христиане, по глубокому моему убеждению, клеветают на сатану и на демонов, хотя почти и непостижимо, что где-то в мире, нам неведомом, обитают существа еще более злобные, чем люди. И конечно же, ежели они существуют, они населяют края, лишённые света, и если пылают, то лишь среди льдов, которые, как известно, своим прикосновением причиняют жгучую боль, а отнюдь не среди славного пламени в окружении пылких звездных дев. Да, они страдают, ибо исполнены злобы, а злоба — это своего рода болезнь, но страдают они только от жестокого холода.

Что же до вашего сатаны, этого жупела богословов, я, господа, не склонен, судя по вашим же рассказам, считать его существом презренным, и ежели по случайности он действительно есть, в моих глазах он не мерзопакостная тварь, а маленький сильф или, если угодно, гном-рудозналец, пусть даже насмешник, зато умница.

Мой добрый учитель закрыл ладонями уши и пустился в бегство, не желая слушать дальше.

— Какое безбожие, — воскликнул он, очутившись на лестнице, — какое богохульство! Турнеброш, сын мой, уловил ли ты всю мерзость изречений нашего философа? К моему изумлению, он доводит неверие до какого-то лихого неистовства. Но как раз это-то и снимает с него почти все

бремя вины. Ибо, отринув всяческую веру, он, естественно, не оскверняет догматы святой церкви, как тот, кто связан с нею своей пуповиной, уже полуоторванной, но еще кровоточащей. Таковы, сын мой, лютеране и кальвинисты, от разрыва коих со святой церковью остается не просто рубец, а гнойная рана. Безбожники в противовес им губят лишь свою собственную душу, и не совершает греха тот, кто делит с ними трапезу. Посему не будем плакаться на свое пребывание у господина д'Астарака, не верящего ни в бога, ни в дьявола. А заметил ли ты, Турнеброш, сын мой, на дне ларчика горсточку мелких алмазов: похоже, что он сам не ведает им счета, мне же они показались чистой воды. Вот опал и сапфиры, те что-то подозрительны. Бриллианты же совсем как настоящие.

Добравшись до наших покоев, мы с аббатом пожелали друг другу мирных снов.

* * *

До самой весны мы с добрым моим наставником вели жизнь размеренную и уединенную. Каждое утро, удалившись в галерею, мы занимались вплоть до обеда, после чего возвращались обратно, — в театр, говоря словами г-на Жерома Куаньяра; но не для того, пояснял сей превосходный муж, чтобы подобно дворянам и лакеям рукоплескать скабресным сценам, а дабы услышать возвышенные, пусть и противоречивые, диалоги древних авторов.

Не удивительно, что при таком образе жизни чтение и перевод Зосимы Панополитанского продвигались с быстротой поистине чудесной. Моей заслуги тут не было. Подобный труд превосходил мои скромные познания, но я довольствовался уж тем, что научился разбирать греческие буквы в том виде, в каком изображают их на египетских папирусах. Все же я помогал моему наставнику, обращаясь за необходимыми справками к тем авторам, которыми он руководствовался в своих разысканиях, и, в первую очередь, к Олимпиодору и Фотию^[42], благодаря чему я изучил их на зубок. Мелкие эти услуги значительно возвысили меня в собственном мнении.

После суровой и долгой зимы я уже твердо вступил на стезю учености, но вдруг пришла весна в своем щегольском наряде, сотканном из потоков света, нежной листвы и птичьих трелей. Аромат сирени, вливающийся в окна библиотеки, навевал смутные мечты, от которых меня внезапно пробуждал голос доброго моего наставника:

— Жако Турнеброш, будь столь любезен, взберись-ка на лестницу и скажи, не пишет ли чего этот мошенник Манефон^[43] о боге Имхотепе, который своими противоречиями мучает меня как дьявол?

И мой добрый наставник с довольным видом забивал себе в обе ноздри понюшку табака.

— Сын мой, — говорил он еще, — примечательно то, что одежда изрядно воздействует на наше нравственное состояние. С той поры, как моя ряса испещрена пятнами, каковые оставили пролитые мною соуса, я ощущаю себя уже не столь порядочным человеком. И неужели, Турнеброш, теперь, когда ваш костюм под стать маркизу, вас не подмывает присутствовать при туалете оперной дивы и проиграть в фараон пяток червонцев, короче, разве не чувствуете вы себя человеком знатным? Не истолкуйте худо моих слов и заметьте, что достаточно нацепить каску на отъявленного труса, как ему уже не терпится поскорее сложить голову на

королевской службе. Наши чувства, Турнеброш, образуются под воздействием сотен мелочей, которых мы не замечаем именно в силу их малости, и судьба бессмертной нашей души зависит подчас от дуновения столь легкого, что под ним не согнется и травинка. Мы, человеки, — игралище ветров. Однако ж передайте мне, пожалуйста, «Начала» Фоссия, я вижу их отсюда, вон красные обрезы сияют под вашей левой рукой.

В тот день, после трапезы, происходившей по обыкновению в три часа, г-н д'Астарак пригласил меня и доброго моего учителя пройтись по парку. Он привел нас в западную часть, примыкающую к Рюэлю и Мон-Валерьену. То был самый отдаленный и самый запущенный уголок его владений. Аллеи поросли плющом и травой, дорогу нам то и дело преграждали стволы поваленных бурей деревьев. Стоявшие вдоль аллеи мраморные статуи кокетливо улыбались, не подозревая о своем увечье. Здесь нимфа подносила к устам несуществующую более руку, призывая пастушка к скромности. Там юный фавн, с отбитой головой, валявшейся в траве, все еще пытался приложить к губам звонкую свою флейту. И эти божественные создания как бы преподали нам урок презрения к жестокости времени и судеб. Мы шли вдоль канавы, наполненной дождевой водой, где искали корма лягушки. Вокруг лужайки возвышались наклонные чаши, где утоляли свою жажду горлинки. Отсюда мы свернули на узкую тропинку, проложенную прямо среди кустов.

— Ступайте осторожнее, — предупредил нас г-н д'Астарак. — Эта тропинка опасна тем, что вдоль нее растут мандрагоры^[44], которые с наступлением ночи поют у подножья деревьев. Мандрагоры эти скрыты в земле. Остерегайтесь наступить на них: вами овладеет любовное томление или жажда наживы, и тогда вы погибли, ибо страсти, внушенные мандрагорой, сродни печали.

Я осведомился, как можно избежать опасности, коль скоро она невидима. Г-н д'Астарак пояснил мне, что избежать ее можно лишь в силу внутреннего прозрения и не иначе.

— Да и вообще, — добавил он, — это погибельная тропа.

Дорожка выводила к кирпичному, увитому плющом флигельку, похожему на домик сторожа. Здесь кончался парк и начинались унылые огороды, разбитые на берегах Сены.

— Взгляните на этот флигель, — обратился к нам г-н д'Астарак. — В стенах его обитает мудрейший из людей. Здесь Мозайд, стодвенадцатилетний старец, проникает с подлинно величественным упорством в запутаннейшие тайны природы. Далеко за собой он оставил Имбонатуса и Бартоломи. Я надеялся, господа, что величайший после

Еноха, сына Каина, кабалист окажет мне честь и поселится под моей кровлей. Но, соблюдая религиозные запреты, Мозаид отказался сидеть за моим столом, который он почитает христианским, чем, признаться, льстит и повару и мне сверх всякой меры. Трудно представить себе, как яростно этот мудрец ненавидит христиан. Хорошо еще, что мне удалось уговорить его поселиться во флигельке, где он и живет, как затворник, со своей племянницей Иахилью.

Уже нельзя откладывать далее ваше знакомство с Мозаидом, господа, и я немедленно представлю вас обоим этому человеку, а вернее, полубогу.

С этими словами г-н д'Астарак ввел нас во флигель, и мы поднялись за ним по винтовой лестнице в горницу, где среди разбросанных рукописей стояло мягкое кресло и в нем сидел старец с живыми глазами, горбатым носом и срезанным подбородком; на грудь его падала расчесанная на обе стороны жидкая белая борода. Бархатный колпак, похожий на императорский венец, покрывал плешивую голову, нечеловечески худое тело было укутано в ветхий балахон желтого шелка, — поистине царственное отрепье.

Хотя его пронзительный взор обратился к нам, старик даже движением век не показал, что заметил присутствие посторонних. На его лице запечатлелось скорбное упрямство, а в морщинистых пальцах он нетерпеливо вертел тростинку, которой пользовался для письма.

— Не рассчитывайте услышать от Мозаида праздные слова, — пояснил нам г-н д'Астарак. — Вот уже много лет, как мудрец беседует лишь с духами и со мной. До чего же возвышенны его речи! Поскольку он не удостоит вас, господа, беседы, постараюсь сам в немногих словах дать представление о его заслугах. Во-первых, он сумел проникнуть в сокровенный смысл книг Моисея, исходя из значения древнееврейских букв, которое определяется их порядковым местом в алфавите. Начиная с одиннадцатой буквы порядок этот был нарушен. Мозаид восстановил его, добившись успеха там, где потерпели неудачу Атрабис, Филон, Авиценна, Раймон Люль, Пикко де ла Мирандолла, Рейхлин, Генрих Мор и Роберт Флид. Мозаиду известно золотое число, которое в мире духов соответствует имени Иеговы. А вы, надеюсь, понимаете, господа, что это влечет за собой поистине невообразимые последствия.

Добрый мой наставник вытащил из кармана табакерку, учтиво предложил нам одолжиться и, втянув в ноздри понюшку, произнес:

— Не думаете ли вы, господин д'Астарак, что подобные знания приведут вас по окончании вашего земного странствия прямехонько в лапы дьявола? Ибо сеньор Мозаид, толкуя Священное писание, впадает в явную

ересь. Когда Иисус Христос испустил на кресте дух ради спасения человек, синагога почувствовала, как пелена закрыла ее очи; она зашаталась подобно пьяной женщине, и венец свалился с главы ее. С той самой поры толкование Ветхого Завета перешло к святой католической церкви, к коей принадлежу и я, несмотря на многие мои прегрешения.

При этих словах Мозайд, похожий на какого-то козлобога, улыбнулся страшной улыбкой и ответил моему наставнику голосом медленным, скрипучим и как бы идущим из неведомых далей:

— Масхора не доверила тебе своих тайн, и Мишна^[45] не раскрыла тебе загадок своих.

— Мозайд, — подхватил г-н д'Астарак, — проникновенно толкует не только Моисеевы книги, но и книгу Еноха, превосходящую вышеупомянутые заключенным в ней знанием, книгу, которую христиане отвергли по недомыслию, уподобясь тому петуху из арабской басни, который презрел жемчужное зерно, попавшееся ему среди овса. Особую ценность, господин аббат Куаньяр, книге Еноха сообщает то, что там упоминается о первых беседах дочерей человеческих с сильфами. Надеюсь, вы не станете оспаривать того, что ангелы, которые, по словам Еноха, состояли с женщинами в любовном общении, как раз и были сильфами и саламандрами.

— Готов признать это, сударь, — отвечивал добрый мой наставник, — лишь бы не противоречить вам. Но судя по отрывкам, дошедшим до нас из книги Еноха, которая представляет собой явный апокриф, я склонен полагать, что ангелы эти были менее всего сильфами, а скорее обыкновенными финикийскими купцами.

— На чем же вы основываете столь удивительное суждение? — осведомился г-н д'Астарак.

— Я основываю его, сударь, на том, что в этой книге говорится: ангелы научили женщин носить браслеты и ожерелья, преподали им искусство сурмить брови и пользоваться всевозможными притираниями. В той же книге говорится еще, что ангелы ознакомили дочерей человеческих со свойствами кореньев и деревьев, научили их чародейству и искусству читать по звездам. Положа руку на сердце, скажите, сударь, разве эти самые ангелы не смахивают более на жителей Тира и Сидона, которые, пристав к полупустынному берегу, раскладывали у подножья скал свои товары с целью прельстить дикарков? Коробейники эти давали им ожерелья из меди, амулеты и снадобья в обмен на амбру, ладан и меха и поражали невежественных красоток рассказами о звездах, сведения о коих сами они почерпнули во время мореплавания. Это ясно как день, и я рад бы

услышать возражение господина Мозаида на сей предмет.

Мозайд по-прежнему хранил молчание, а г-н д'Астарак вновь улыбнулся.

— Господин Куаньяр, — промолвил он, — рассуждения ваши достаточно здравы, особенно для человека, неискушенного в гностике и кабале. Ваши слова наводят меня на мысль, что среди сильфов, имевших любовное общение с дочерьми человеческими, находились гномы-рудознатцы и гномы — золотых дел мастера. Ведь гномы охочи до ювелирных работ, и возможно, именно эти искусные духи и выковывали браслеты, которые по вашему домыслу мастерили финикийцы. Но предупреждаю вас, сударь, если вы решите помериться с Мозаидом в области познания человеческих древностей, вы окажетесь в затруднительном положении. Он обнаружил памятники, считавшиеся безвозвратно утерянными, и в числе их столп Сифа и пророчества Самбефы, дочери Ноя, первой из сивилл.

— О! какие бредни! — вскричал мой добрый наставник и даже подскочил, отчего с давно неметеного пола поднялся столб пыли. — Это уж слишком, — вы просто насмежаетесь надо мной! И даже сам господин Мозайд не в силах вместить столько безумств в своей голове, под огромным своим колпаком, напоминающим венец Карла Великого. Этот Сифов столп — смехотворнейшая выдумка пошляка Иосифа Флавия^[46], бессмысленная побасенка, которою никого еще не удалось одурачить, не считая вас. Что же касается пророчеств Самбефы, дочери Ноя, мне было бы любопытно узнать их, и господин Мозайд — а он, как я вижу, скуп на слова — весьма бы обязал меня, если б открыл рот и издал хотя бы звук, ибо — хочется верить — он не склонен издавать их иным, более сокровенным путем, каким имели обыкновение пользоваться древние сивиллы, давая свои загадочные ответы.

Мозайд, казалось, ничего не слышавший, произнес неожиданно для всех нас:

— И сказала дочь Ноя, и вещала Самбефа: «Суетный человек, что смеется и потешается, не услышит голоса, идущего из седьмой скинии; гряди, нечестивец, к бесславной гибели своей».

Выслушав это пророчество, мы покинули флигель Мозаида.

* * *

В тот год лето выдалось на диво лучезарное, и меня так и тянуло из душных покоев. В один прекрасный день, бродя под сенью деревьев в аллее Королевы, сжимая в руке две монеты по экю каждая, которые я поутру обнаружил в кармане своих панталон и которые явились пока еще первым проявлением щедрости нашего алхимика, я присел, наконец, под навес торговца лимонадом, облюбовав себе столик, вполне подходящий для человека скромного и желающего побыть в одиночестве, и, поглядывая на мушкетеров, распивавших испанское вино с местными красотками, задумался о превратности своей судьбы. Я усомнился в существовании Саблонского креста, г-на. д'Астарака, Мозаида, папирусов Зосимы, даже парадной моей одежды, почитая все это лишь мимолетным сном, очнувшись от которого я окажусь в канифасовом своем камзолчике у вертела «Королевы Гусиные Лапы».

Вдруг кто-то потянул меня за рукав, нарушив бег моих мечтаний. И я увидел перед собой брата Ангела, чьи черты с трудом различил из-за капюшона и бороды.

— Господин Жак Менетрие, — зашептал он, — некая молодая особа, желающая вам добра, ждет вас в карете на дороге между рекой и воротами Конферанс.

Сердце как бешеное забилося в моей груди. Испуганный и восхищенный этим приключением, я тотчас же поспешил к указанному месту, стараясь идти степенным шагом, что казалось мне наиболее благопристойным. Добравшись до набережной, я заметил карету и в окошке ее маленькую ручку, покоившуюся на бархате.

При моем приближении дверца приоткрылась, и я с удивлением увидел в карете мамзель Катрину, в платье розового атласа и в прелестной наколке, сквозь черные кружева которой пробивались золотистые локоны.

В нерешительности я замер на подножке.

— Входите же, — пригласила она, — и сядьте рядом со мной. Будьте добры, поскорее закройте дверцу. Не надо, чтобы вас видели. Проезжая по аллее Королевы, я заметила вас у лимонадщика. Тотчас же я послала за вами доброго братца, которого взяла к себе, чтобы достойно провести пост, и с тех пор держу его при себе, ибо в какое бы положение ни попал человек, он не должен забывать о правилах благочестия. Я, господин Жак, просто залюбовалась вами, когда вы сидели у столика со шпагой на боку, и

вид у вас был такой грустный, как у настоящего дворянина. Уже давно я питаю к вам дружеское расположение, а я не из тех женщин, которые в богатстве пренебрегают старыми знакомыми.

— Как, мамзель Катрина, — вскричал я, — неужели эта карета, эти лакеи, это атласное платье...

— Знаки благоволения господина де ла Геритода, — подхватила она, — богатейшего банкира, занимающего видное положение. Он ссужает деньги самому королю. Это такой отменный друг, что ни за какие блага мира я не соглашусь его огорчить. Но, увы, он не так мил, как вы, господин Жак. Он подарил мне маленький особнячок в Гренеле, я вам его покажу от погреба до чердака. Как я рада, господин Жак, что вы так преуспели. Истинные достоинства всегда бывают оценены. Вы увидите мою спальню, она обставлена точь-в-точь как у мадемуазель Давилье. Все стены в зеркалах и кругом статуэтки, статуэтки... Как поживает ваш добрейший батюшка? Между нами говоря, он малость пренебрегает своей супругой и харчевней. А уж ему не положено так поступать. Но давайте поговорим о вас.

— Поговорим лучше о вас, мамзель Катрина, — вставил я наконец. — Вы чудо как хороши, и очень жаль, что вам по душе капуцины. А генеральных откупщиков никто не поставит вам в упрек.

— О, не попрекайте меня братом Ангелом, — возразила она. — Он мне нужен лишь ради спасения души, и если уж у господина де ла Геритода появится соперник, то это будет...

— Кто?

— Вы еще спрашиваете, господин Жак. Какая неблагодарность! Ведь вы-то хорошо знаете, что я вас всегда отличала. А вы даже на меня не глядели.

— Напротив, мамзель Катрина, я всегда страдал от ваших насмешек. Вы меня стыдили тем, что я безусый юнец. Вы же сами не раз говорили, что я простак.

— Это сущая правда, господин Жак, вы и сами не сознаете, до чего ж это верно. Неужели вы не поняли, что я всегда желала вам добра?

— Тогда зачем же, Катрина, были вы до того прелестны, что нагоняли на меня страх? Я и глаз поднять на вас не смел. А в один прекрасный день я заметил, что вы почему-то совсем на меня разгневались.

— Конечно, разгневалась и была права, господин Жак. Ведь вы предпочли мне эту савойскую сурчиху, эту шваль с пристани святого Николая.

— Ах, верьте мне, душенька Катрина, что тут ни при чем ни мой вкус,

ни мои склонности, а просто Жаннете удалось победить мою застенчивость достаточно энергическими средствами.

— Ах, друг мой, поверьте мне, как старшей: робость в делах любви тяжкий грех. Но разве вы не заметили, что эта нищенка ходит в дырявых чулках и что подол у нее на целый локоть покрыт грязью, словно кружевом!

— Заметил, Катрина.

— Разве вы не заметили, Жак, что она кособокая, хуже того, и боков-то у нее нет?

— Заметил, Катрина.

— Как же в таком случае вы могли любить эту савойскую образину, вы, с вашей белоснежной кожей и изысканными манерами?

— Сам в толк не возьму, Катрина. Надо полагать, что в эту минуту перед моими глазами стояли вы. И коль скоро один ваш образ придал мне отваги и сил, за что вы же меня теперь и упрекаете, — судите сами, Катрина, с какой страстью я заключил бы в свои объятия вас или же девушку, хоть немного на вас похожую. Ибо я безумно любил вас.

Катрина взяла мои руки в свои и вздохнула. А я продолжал самым меланхолическим тоном:

— Да, я любил вас, Катрина, и любил бы поныне, не будь этого мерзкого монаха.

Тут Катрина воскликнула:

— Какое низкое подозрение! Не сердите меня. Это же безумие.

— Стало быть, вы разлюбили капуцинов?

— Фи!

Я счел неуместным распространяться далее на эту тему и обнял Катрину за талию; мы упали друг другу в объятия, наши губы встретились, и я почувствовал, как все мое естество растворяется в жажде наслаждения.

Когда после краткого мгновения сладостного забытья она высвободилась из моих объятий, щеки ее пылали, взор увлажнился, уста полуоткрылись. Так, в этот день узнал я, сколь хорошеет и расцветает женщина, когда губы ее еще хранят вкус поцелуя. От моего поцелуя на щеках Катрины расцвели розы нежнейшего оттенка и словно роса окропила васильки ее глаз.

— Какое вы еще дитя, — промолвила Катрина, поправляя наголку. — Уходите скорее. Вам нельзя здесь дольше оставаться. Сейчас явится господин де ла Геритод. У него не хватает терпения дожидаться назначенного для встречи часа, — так он меня любит.

Должно быть, Катрина догадалась по выражению моего лица об

охватившей меня досаде, потому что тут же нежно прибавила:

— Послушайте меня, Жак, каждый вечер он ровно в девять часов возвращается домой к своей старой супруге, которая с возрастом стала сварлива, а с тех пор, как сама не способна проказничать, не желает терпеть мужниных проказ и ревнует его сверх меры. Приходите ко мне нынче вечером в половине десятого. Я вас приму. Я живу на углу улицы Бак. Вы сразу узнаете мой дом по трем окнам вдоль фасада и по балкону, увитому розами. Вы же знаете, я всегда любила цветы. До вечера.

Ласковым жестом она оттолкнула меня, и в этом ее движении я почувствовал горечь вынужденной разлуки. Потом, приложив пальчик к губам, она повторила шепотом:

— До вечера!

* * *

Уж не помню, как удалось мне оторвать уста от уст Катрины. Помню лишь, что, спрыгнув с подножки кареты, я столкнулся с г-ном д'Астараком, он стоял на краю дороги, напоминая своей долговязой фигурой одинокое дерево. Учтиво поклонившись, я выразил удивление по поводу столь счастливой случайности.

— Сила случая, — возразил он мне, — уменьшается по мере того как возрастает сила знания. Для меня случая не существует. Я, например, твердо знал, сын мой, что непременно встречу вас здесь. Пришла пора для нашей беседы, и так слишком долго откладывавшейся. Если не возражаете, давайте поищем уединенного и спокойного местечка, ибо только такой обстановки требует речь, которую я поведу. Не делайте столь озабоченной мины. Тайны, что я намереваюсь вам поведать, хоть и возвышенны, но приятны.

Говоря так, он повлек меня за собой вдоль берега Сены, и вскоре мы очутились прямо напротив Лебязьего острова, который вздымал пышный шатер листвы, словно корабль свои паруса. Тут он сделал знак перевозчику, и тот доставил нас на зеленеющий остров, посещаемый, да и то лишь в погожие дни, увечными воинами, что играют здесь в шары и опрокидывают чарочку-другую. Ночь зажгла в небесах первые звезды и пробудила к жизни хор кузнечиков. Остров был пустынен. Г-н д'Астарак присел на деревянную скамью в освещенном конце ореховой аллеи, пригласив меня занять место рядом с ним, и повел такую речь:

— Существуют, сын мой, три сорта людей, от коих философ вынужден скрывать свои тайны. Это власть имущие, ибо неблагоразумно содействовать укреплению их могущества; затем честолюбцы, чьи безжалостные замыслы не должна вооружать философия, и, наконец, распутники, которым обладание магической наукой послужит к удовлетворению низких страстей. Но вам я могу довериться смело, ибо вы не распутник, и хочу надеяться, что лишь недоразумение бросило вас в объятия этой девицы, и не честолюбец, ибо до сего времени вы были вполне довольны жизнью, вращая родительский вертел. Посему без боязни посвящаю вас в сокровенные законы вселенной.

Было бы ошибкой полагать, что жизнь ограничена лишь теми узкими рамками, в которых протекает она на глазах толпы. Когда ваши богословы и ваши философы утверждают, будто человек есть цель и венец творения,

они рассуждают не лучше мокриц, которые уверены, что сырые подвалы Версаля или Тюильри построены ради них, мокриц, и что весь остальной дворец необитаем. Система мироздания, открытая монахом Коперником в минувшем веке в согласии с Аристархом Самосским^[47] и философами-пифагорейцами, вам безусловно известна, поскольку ее в переложении преподают школярам и даже сочиняют на сей предмет диалоги для светской болтовни. Вы сами видели у меня машину, которая показывает все это с помощью часового механизма. Подымите взор к небесам, дитя мое, и над своей головой вы увидите колесницу Давида, влекомую Мизаром и двумя прославленными спутниками к полюсу, вокруг коего она совершает путь свой; увидите Арктур, Вегу из созвездия Лиры, Колос в созвездии Девы, Ариаднин венец с восхитительной жемчужиной. Все это суть солнца. Даже поверхностный взгляд на вселенную убедит вас, что все творения природы — чада огня и что жизнь в самых совершенных ее формах вскормлена пламенем!

А что такое планеты? Капельки грязи, щепотки тины и плесени. Приглядитесь к царственному хору светил, к скопищу солнц. Все они равны нашей планете или превосходят ее величиной и светоносной силой, и если я зимней ясной ночью покажу вам через мою трубу Сириус, не только ваш взор, но и душа будут ослеплены.

Скажите же, положа руку на сердце, неужели вы верите, что Сириус, Альтаир, Регул, Альдебаран, что все эти солнца не что иное, как светильники и только светильники? Неужели верите вы, что древнейшему Фебу, извечно изливающему в пространство, где плывем мы, неиссякаемые потоки света и тепла, нет иного занятия, как освещать нашу землю и еще тройку-другую каких-то мелких и жалких планет? Вот так свечка! В миллион раз больше опочивальни!

Я хочу нарисовать вам картину вселенной, состоящей из множества солнц, а разбросанные там и сям планеты — это просто так, пустышки. Но я вижу, с губ ваших готово сорваться возражение, каковое и хочу предварить своим ответом. Солнца, скажете вы мне, тоже гаснут с круговоротом веков и тоже становятся капелькой грязи. Отнюдь нет! — отвечу я вам, — ибо они живут поддержкой притягиваемых ими комет, которые в конце концов на них падают. Вот оно, обиталище жизни истинной. Планеты и в числе их наша с вами земля являются временным прибежищем для жалких личинок. Эти истины вам и должно усвоить поначалу.

Теперь, когда вы поняли, сын мой, что огонь является первостихией, вы легче усвоите ту истину, какую я поведаю вам сейчас и каковая оставляет далеко за собой не только то, чему учили вас до сего времени, но

даже то, что знали Эразм, Тюрнеб^[48] и Скалигер^[49]. Уж не говорю о таких богословах, как Кенель или Боссюэ, которых, между нами говоря, смело уподоблю мутному осадку человеческого разума и которые не более способны к рассуждениям, чем какой-нибудь гвардейский капитан. Но стоит ли терять время, обливая презрением этих умников, мозги коих объемом и содержимым подобны воробьиному яйцу? Давайте лучше перейдем к предмету нашей беседы. В то время как существа, порожденные землей, ни на волос не могут превзойти предела совершенства, уже достигнутого в области физической красоты Антиномом и госпожой де Парабер^[50], а в искусстве познания — Демокритом и мною, существа, порожденные огнем, наделены мудростью и силою ума, безмерность которых для нас непредставима.

Такова, сын мой, природа лучезарных чад солнца: они с такой же легкостью постигают законы, управляющие вселенной, с какой мы, смертные, овладеваем правилами шахматной игры, и ход светил на небосводе смущает их не более, чем нас ход короля, ладьи или слона на шахматном поле. Духи эти творят новые миры в необитаемой еще части вселенной и устраивают их сообразно своим вкусам. Подобные утехы дают им краткий роздых, отвлекая от главного занятия — сочетаться меж собой в несказанном порыве любви. Вчера я наставил свою трубу на созвездие Девы и узрел отдаленный световой вихрь. Не сомневаюсь, сын мой, что это дело рук одного из этих сынов огня, правда еще далекое от завершения.

В самом деле таково, и только таково, происхождение вселенной. Отнюдь не будучи созданием единой воли, она возникла по воле высшей прихоти несчетного количества духов, которые забавы ради трудились над ее созданием, каждый в свой час и каждый по своему разумению. Вот вам объяснение ее разнообразия, великолепия и несовершенств. Ибо силе и предвидению этих духов, при всей их огромности, все же положен предел. И я солгал бы, утверждая, что человек, будь он даже философ или маг, может войти с этими духами в интимное общение. Ни один из них не открывался мне, и к вышесказанному я пришел путем собственных умозаключений и через услышанное мною от других. И хотя существование этих духов бесспорно, я взял бы на себя слишком много, утверждая, что могу описать вам их нравы и характер. Надобно уметь сознавать свое невежество. И я горжусь тем, сын мой, что любое мое утверждение основано на тщательно изученных фактах. Итак, давайте оставим этих духов, или, вернее, этих демиургов, в сиянии их далекой славы и перейдем к существам не менее знаменитым, но касающимся нас

непосредственно. Обратитесь в слух, сын мой.

Если, говоря вам о планетах, я невольно поддался чувству презрения, то потому лишь, что имел в виду только твердую оболочку и кору этих шариков или волчков, а также тех жалких тварей, что ползают по ней. Я говорил бы об этих планетах в ином тоне, если б ум мой охватил не только самые планеты, но также воздух и туманности, их окружающие. Ибо воздух — стихия, уступающая в благородстве только огню, откуда явствует, что своими достоинствами и блеском планеты обязаны омывающему их воздуху. Эти облака, эта нежная дымка, эти дуновения, эти блики, эти голубые волны, эти пурпурово-золотые острова, пребывающие в постоянном движении и плывущие над нашей головой, вот они-то и являются приютом дивных существ. Создания эти зовутся сифами и саламандрами. Это творения непередаваемого очарования и красоты. Нам не только доступно, но и положено вступать с ними в общение самое упоительное. Внешность саламандр столь совершенна, что в сравнении с ними первая красавица среди придворных дам или горожанок покажется вам просто образиной. Саламандры охотно идут навстречу желаниям философов. Вы, конечно, слышали о том восхитительном создании, что сопровождало в его путешествиях господина Декарта. Одни уверяли, что это его побочная дочь, другие говорили, что это автомат, который с непревзойденным умением смастерил этот философ. В действительности же то была саламандра, которую нашему искуснику удалось взять себе в подруги. Он ни на минуту не разлучался с нею. Совершая морской переезд в Голландию, он взял ее с собой на борт корабля в футляре из ценного дерева, обитого изнутри атласом. Форма этого футляра и та забота, с которой господин Декарт хранил свою поклажу, привлекла внимание капитана, и когда философ уснул, тот открыл крышку и увидел саламандру. Невежественный и грубый моряк решил, что столь чудесное создание могло выйти только из рук дьявола. Со страха он бросил ее в море. Но, как вы догадываетесь, эта прелестная особа не утонула и без труда вернулась к своему другу господину Декарту. Она хранила ему верность до конца его дней, а после его смерти покинула наш мир с тем, чтобы не возвращаться более на землю.

Я привел этот пример, хотя мог бы привести десятки других, желая дать вам представление о любви между философами и саламандрами. Любовь эта слишком возвышенна, и нелепо скреплять такие узы брачными контрактами; вы согласитесь со мной, что в подобных союзах были бы неуместны, и даже просто смешны, обычные свадебные обряды. Вообразите, как хорош был бы в этих обстоятельствах нотариус с его

париком и священник с его брюхом! Господа эти годны лишь там, где скрепляется законом пошлое сожителство мужчины и женщины. При бракосочетании саламандры с мудрецом присутствуют более знатные свидетели. Их приветствуют обитатели воздуха, которые, разукрасив по случаю торжества корму своих кораблей розами, проплывают над головами брачующихся по невидимым волнам в легком дуновении ветерка и улаживают их слух звуками арфы. Не следует, однако ж, думать, что союзы эти, не будучи занесены в засаленные книги какой-нибудь душистой ризницы, от того менее прочны и расторгаются легче, чем обычные браки. За прочность сих уз ручаются духи, резвящиеся в небесах, а ведь там грохочет гром, оттуда низвергается молния. Все эти откровения, которые вы, сын мой, слышите от меня, несомненно пригодятся вам, ибо, по некоторым признакам, вы предназначены для ложа саламандры.

— Увы, сударь, — вскричал я, — это предназначение меня страшит, и я почти понимаю страхи того голландского морехода, который швырнул в море подружку господина Декарта. Подобно ему я склонен верить, что эти воздушные дамы — из рода демонов. И я боюсь загубить свою душу, имея с ними дело, ибо такие браки, сударь, противоречат природе и несовместимы с божественным законом. О, если бы господин Жером Куаньяр, если бы мой добрый учитель был здесь и мог слышать ваши слова! Уверен, он нашел бы убедительные: доводы против прелестей ваших саламандр, сударь, и против соблазнов вашего красноречия.

— Аббат Куаньяр, — возразил г-н д'Астарак, — незаменим для переводов с греческого. Но не следует отрывать его от книг. Меньше всего он философ. А вы, сын мой, беспомощны в рассуждениях, как и подобает невежде, и слабость ваших доводов удручает меня. Эти союзы, говорите вы, противоречат природе. А откуда это вам известно? Да и каким способом могли бы вы узнать сие? Как возможно различить то, что естественно, от того, что противоречит естеству? Разве люди до конца познали вселенскую Изиду и в состоянии решать, что ей способствует и что противоречит? Скажем лучше так: ничто ей не противоречит, и все ей способствует, коль скоро все сущее есть часть ее состава, ее органов, и все подчиняется бесконечным их изменениям. Так откуда же, скажите на милость, взяться оскорбляющим ее врагам? Ничто не совершается вне или вопреки ее воле, и противоборствующие ей, на наш взгляд, силы не что иное, как ее собственная жизнь в движении.

Одни только невежды достаточно самоуверенны, дабы решать, какое из действий противоречит природе, а какое нет. Но давайте на минуту разделим эти заблуждения и предрассудки и притворимся, будто мы верим

в то, что возможно совершать поступки, противные природе. Становятся ли в силу этого наши действия дурными или предосудительными? Разрешите сослаться в данном случае на избитое мнение моралистов, каковые изображают добродетель как нашу победу над собственными инстинктами, как одоление заложенных в нас самой природой склонностей, словом, как борьбу против ветхого Адама. По их собственному признанию, добродетель — нечто противоречащее природе, так как же могут они осуждать поступки за то, что роднит эти последние с добродетелью.

Я с умыслом сделал это отступление, сын мой, дабы показать прискорбную легковесность ваших доводов. И не желая вас оскорблять, я даже мысли не допускаю, будто вы можете еще сомневаться в непорочности плотского общения людей с саламандрами. Так знайте же, что такие союзы не только не запрещены законами религии, но и рекомендуются ею, как преимущественные перед всеми прочими. Сейчас я приведу вам тому очевидные доказательства.

Он замолчал, вытащил из кармана табакерку и втянул изрядную понюшку табаку.

Ночной мрак уже давно окутал землю. Луна струила на речные воды свой расплавленный свет, и он сливался с дробящимся отражением фонарей. Легчайшими вихрями вились вокруг нас ночные бабочки. Пронзительное пение кузнечиков одно лишь нарушало молчание вселенной. Такой негой исходили небеса, словно молочные струи примешивались к звездному сиянию.

Тем временем господин д'Астарак снова повел свою речь:

— В библии, сын мой, особенно же в пятикнижии Моисеевом, содержится множество великих и полезных истин. Мнение это может показаться нелепым и безрассудным благодаря бесцеремонному обхождению богословов с тем, что именуют они Священным писанием, которое они своими комментариями, толкованиями и рассуждениями превратили в скопище ошибок, средоточие нелепостей, набор пустяков, музей лжи, выставку чепухи, школу невежества, коллекцию вздора, кладовую человеческой глупости и злобы. Знайте же, сын мой, что поначалу библия была храмом, исполненным небесного света.

Мне выпало счастье восстановить его в первоизданном блеске. И я погрешил бы против истины, утаив, что в этом мне оказал неоценимую помощь Мозайд благодаря своему пониманию древнееврейского алфавита и языка. Но не будем отвлекаться от основного предмета нашей беседы. Прежде всего усвойте, сын мой, что все библейские речения имеют иносказательный смысл и важнейшая ошибка богословов состоит в том,

что они видят букву там, где налицо символ, подлежащий истолкованию. Следуя за ходом моих дальнейших рассуждений, ни на минуту не забывают этой истины.

Когда демиург, который зовется Иеговой, а также множеством других имен, поскольку к нему вообще применяют все обозначения, выражающие качество или количество, не то чтобы сотворил мир, — утверждать это было бы глупостью непростительной, — а просто приспособил небольшой уголок вселенной под жилье Адама и Евы, мировое пространство уже тогда было населено некими легчайшими существами, которых Иегова не создавал, да и не в силах был создать. Они — дело рук иных демиургов, более древнего происхождения, нежели Иегова, и более умелых по части созидания. В своем мастерстве Иегова в конце концов пошел не дальше того весьма умелого гончара, которому удалось бы наделать из глины наподобие горшков те самые существа, каковыми мы и являемся. Говоря так, я отнюдь не желаю преуменьшить его заслуг, ибо и такие труды не по плечу человеку. Однако нельзя умолчать о довольно жалком итоге его семидневных трудов.

Иегова мастерил не при помощи огня, каковой один лишь способен рождать истинные шедевры, а из грязи, пользуясь которой даже гений не подыметя выше посредственного горшкодела. Поэтому, сын мой, мы не что иное, как одушевленные глиняные изделия. Было бы несправедливо упрекать Иегову в том, будто он заблуждался относительно ценности своей работы. Если поначалу он в творческом пылу преувеличивал ее достоинства, то довольно скоро обнаружил свой промах, и библия кишит выражениями его недовольства, которое подчас переходит в досаду, а порою и в гнев. Никогда ни один ремесленник так не хулил и не поносил дело рук своих. Иегова подумывал даже о том, как бы его уничтожить, и действительно уничтожил, потопив почти целиком. Этот потоп, упоминания о котором мы встречаем у евреев, у греков и у китайцев, был последней каплей, переполнившей чашу разочарования незадачливого демиурга, ибо, не замедлив осознать всю бесполезность и смехотворность этого акта насилия, он впал в уныние и апатию, все усиливавшиеся со времен Ноя и до наших дней: ныне же они дошли до последних пределов. Но я, кажется, забегаю вперед. Слабая сторона эпических сюжетов заключается в том, что трудно остаться в рамках. Раз бросившись в подобное предприятие, ум человеческий уподобляется сынам солнца, одним прыжком переносящимся из одной вселенной в другую. Но вернемся к земному раю, где демиург поместил собственноручно вылепленные им два сосуда — Адама и Еву. Нет, они не жили там в

одиночестве среди растений и зверей. Духи воздуха, созданные демиургами огня, рея над ними, взирали на наших прародителей с любопытством, к которому примешивалось расположение и жалость. Иегова предвидел это обстоятельство. Замечу, к его чести, что он возлагал немалые надежды на духов огня — будем отныне называть их подлинными именами, эльфами и саламандрами, — в видах улучшения и совершенствования своих глиняных фигурок. С похвальным благоразумием твердил он себе: «Моему Адаму и Еве, замешанным из глины, не хватает прозрачности, света и воздуха. Да и насчет крыльев я недоглядел. Однако, вступая в союзы с эльфами и саламандрами, вышедшими из рук демиурга, более искусного и тонкого в работе, чем я, они произведут на свет детей наполовину светозарной, наполовину глиняной породы, те в свою очередь наплодят детей уже на три четверти светозарных, и так будет продолжаться впредь до того времени, пока потомство Адамово не сравняется красотой с сынами и дочерьми воздуха и огня».

Воздадим должное Иегове, — при сотворении своих Адама и Евы он не пренебрег ни одной мелочью, могущей привлечь взгляд сильфов и саламандр. Женщине придал он очертания амфоры, добившись такой гармонии кривых линий, что уж за одно это его смело можно назвать князем геометров, и сумел искупить грубость материала роскошью формы. Адама лепила не столько нежная, сколько решительная рука, и его тело приобрело такую стройность и столь совершенные пропорции, что греки, обращаясь впоследствии в архитектуре к этой соразмерности частей и их пропорциям, создали свои неповторимо прекрасные храмы.

Итак, вы сами видите, сын мой, что Иегова в меру сил своих постарался сделать все, дабы созданные им существа оказались, как он и надеялся, достойными поцелуев жителей воздушных сфер. Обойду молчанием те меры, какие он озаботился принять, имея в виду плодовитость этих союзов. Уже одна анатомия достаточно красноречиво свидетельствует о мудрости, проявленной им в этом отношении. Недаром же сам он дивился своей хитрости и ловкости. Я уже докладывал вам, что сильфы и саламандры взирали на Адама и Еву с любопытством, сочувствием и нежностью, а ведь это — необходимейшие элементы любви. Духи приближались и попадали в хитроумные ловушки, какие Иегова с намерением уготовил для них и поместил в соответствующих местах и на округлости наших двух амфор. Первый мужчина и первая женщина в течение долгих веков упивались сладостными объятиями духов воздуха, что способствовало сохранению их вечной молодости.

Таков был их удел, таким должен был стать и наш. Почему же

случилось так, что прародители рода человеческого, пресытившись этим небесным сладострастием, стали искать преступных утех во взаимной близости? Но, сын мой, что ждать от того, кто сделан из глины: грязь — она к грязи и влечется. Увы, они познали друг друга тем же способом, каким познавали ранее духов.

А этого-то и не желал допустить демиург. Справедливо опасаясь, что от такой близости пойдут дети, которые, подобно слишком земным родителям, будут неуклюжи и тяжеловесны, он под страхом самых суровых кар запретил нашим прародителям даже подходить друг к другу. Именно так надо толковать слова Евы: «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Надеюсь, вы догадались, сын мой, что яблоко, соблазнившее несчастную Еву, росло вовсе не на яблоне и было лишь аллегорией, смысл коей я только что вам открыл. Пусть Иегова, при всем своем несовершенстве и сумасбродстве, легко впадал в гнев, он был слишком умен, чтобы так осердиться из-за какого-то яблока или груши. Только епископ или капуцин способны поддерживать подобные нелепости. И доказательством того, что яблоко было вовсе не яблоком, служит кара, поразившая Еву за ее непослушание. Ведь Иегова не сказал ей: «В муках ты будешь переваривать хлеб свой», а сказал: «В муках ты будешь рожать детей своих». Скажите на милость, какое отношение имеет яблоко к трудным родам? И напротив того, если вина Евы заключалась именно в том, о чем я вам говорил, — кара на редкость соответствует прегрешению.

Таково, сын мой, подлинное объяснение первородного греха. И пусть оно послужит вам уроком, научит чураться женщин. Ваша склонность к женскому полу приведет вас к гибели. Все дети, рожденные таким путем, не более как жалкие глупцы.

— Но, сударь, разве могут младенцы рождаться иным путем? — вскричал я, пораженный его словами.

— К нашему счастью, — огромное число их рождается от союза людей с духами воздуха, — возразил г-н д'Астарак. — И рожденные от этих уз — умны и прекрасны собой. Таково происхождение гигантов, о которых нам повествуют Гесиод и Моисей^[51]. Таково происхождение Пифагора, который своей матери саламандре обязан тем, что появился на свет с золотым бедром^[52]. Таково происхождение Александра Великого, который, как утверждают, был сыном Олимпиады и змия, Сципиона Африканского, Аристомена Мессенского, Юлия Цезаря, Порфирия, императора Юлиана, который возродил культ огня, уничтоженный

Константином Отступником, волшебника Мерлина, рожденного от сильфа и монахини, дочери Карла Великого, святого Фомы Аквинского, Парацельса, а в недавние времена господина Ван-Гельмонта.

Я пообещал г-ну д'Астараку, раз уж дело обстоит так, не отвергать дружбу саламандры, если найдется хоть одна, которая удостоит меня своим посещением. Он уверил, что найдется, и не одна, а целых двадцать или тридцать, и все затруднение будет лишь в выборе. И влекомый более желанием угодить философу, чем пускаться в неведомые приключения, я осведомился, каким же путем можно войти в сношения с этими воздушными особами.

— Нет ничего легче, — ответил он. — Для этой цели вполне достаточно стеклянного шара, обращение с каковым я вам растолкую. В моем кабинете множество таких шаров, и я дам вам все необходимые объяснения. Но на сегодня хватит!

Философ поднялся со скамьи и зашагал к лодке, где поджидавший нас перевозчик спал, растянувшись на спине и храпя на луну. Когда мы достигли берега, г-н д'Астарак тут же покинул меня, и через минуту его поглотила ночная мгла.

* * *

Эта длинная беседа прошла мимо меня, как сонная греза; мысль о Катрине куда более волновала мои чувства. Пусть я наслушался самых возвышенных рассуждений, меня тянуло повидать ее, даже в ущерб вечерней трапезе. Видно, недостаточно глубоко проникся я идеями нашего философа и не мог связать представление о чем-то мерзостном с обликом прелестной Катрины. Поэтому я решил не упускать счастливого случая и довести приключение до конца, прежде чем вступить в обладание красавицей из числа этих воздушных фурий, которые к тому же не терпят земных соперниц. Я опасался лишь того, что Катрине прискучит ждать меня в столь поздний час. Вихрем промчался я вдоль реки, одним махом пересек Королевский мост и свернул на улицу Бак. Через минуту я уже достиг улицы Гренель, где услышал вопли, сопровождаемые лязгом шпаг. Шум доносился из того дома, где, по описаниям, должна была жить Катрина. Перед самым входом на мостовой скользили тени и лучи фонарей, гремели голоса:

— Спасите во имя Христа! Убивают! — Бей капуцина! Смелее! Коли его! — Иисусе, святая Мария, не дайте погибнуть. — Посмотрите на этого кота! Ату его! Ату! Коли его, ребята, коли смелей!

В соседних домах распахивались окна и высовывались головы в ночных чепцах и колпаках.

Внезапно вся эта череда теней с криками пронеслась мимо меня подобно стае гончих в лесу, и я узнал брата Ангела, который улепетывал с такой непостижимой быстротой, что при каждом скачке поддавал себе сандалиями под зад, а тройка здоровенных дылд-лакеев, вооруженных на манер гвардейцев, колола его сзади острием своих алебард. Молодой дворянин, краснолицый коротышка, подбадривал своих слуг голосом и взмахом руки, совсем как свору охотничьих псов.

— Валяй! Коли! Так его, кабана толстокожего! Когда дворянин поравнялся со мной, я обратился к нему со следующими словами:

— Ах, сударь, у вас нет ни капли жалости.

— Сразу видно, сударь, — отозвался он, — что этот капуцин никогда не ласкал вашу милую и что ни разу вы не заставляли своей дамы в объятиях этой ехидны. Банкира приходится терпеть, жизнь и не тому научит. Но не капуцина. Полюбуйтесь на бесстыдницу!

И он указал мне на Катрину: в одной рубашке, с блестящими от слез

глазами стояла она, ломая руки, в дверях, и сейчас, с разметавшимися кудрями, показалась мне еще прелестнее; ее прерывистый шепот раздирал мне душу:

— Не убивайте его! Это брат Ангел, это же братец!

Негодяи лакеи, возвратившись, объявили хозяину, что вынуждены были прекратить погоню ввиду появления городской стражи, но им все же удалось всадить на четверть пальца острие своих пик в заднюю часть святого мужа. Ночные чепцы и колпаки исчезали в окнах, рамы захлопывались, и пока молодой дворянин беседовал со своими людьми, я подошел к Катрине, чьи слезы сохли в хорошеньких ямочках, предвестницах улыбки.

— Бедный братец спасся, — сказала она мне. — Но как же я боялась за него. Мужчины страшны во гневе. Когда они влюблены, они и слышать ничего не желают.

— Катрина, — промолвил я, уязвленный ее словами, — неужели вы позвали меня лишь затем, чтобы присутствовать при драке ваших друзей. Увы, я даже не имею права принять в ней участие.

— А могли бы иметь, господин Жак, — возразила она, — могли бы, если б только захотели.

— Помилуйте, — сказал я, — и без меня весь Париж у ваших ног. Вы мне ничего не говорили об этом молодом дворянине.

— Я о нем и думать забыла. Он явился невзначай.

— И застал вас с братцем Ангелом?

— Ему почудилось невесть что. Вот горячка! Не желает слушать никаких доводов.

Сквозь полуоткрытый ворот ее сорочки, украшенной кружевом, виднелась округлая, как прекрасный плод, грудь, увенчанная нераспустившейся розой соска. Я заключил Катрину в объятия и покрыв ее грудь поцелуями.

— О боже, — воскликнула она, — на улице! На глазах господина д'Анктиля!

— Что это еще за господин д'Анктиль?

— Убийца брата Ангела, вот кто. А то кто же, по-вашему?

— Верно, Катрина, пожалуй других и не требуется, ваши друзья и так собрались более чем в достаточном количестве.

— Не оскорбляйте меня, пожалуйста, господин Жак.

— Я вас ничем не оскорбил, Катрина; я лишь отдаю должное вашим прелестям и хотел бы оказать им ту же честь, что и многие другие.

— От ваших слов, господин Жак, несет харчевней вашего

достопочтенного батюшки.

— Когда-то вы вполне довольствовались, мамзель Катрина, нашим вертелом.

— Фу! Гадкий невежа! Оскорблять женщину! Катрина начала визжать и размахивать руками, и г-н д'Анктиль покинул своих слуг, подошел к нам, втолкнул Катрину в дом, обозвав ее обманщицей и шлюхой, вошел за ней следом и захлопнул дверь перед самым моим носом.

* * *

В течение всей недели, последовавшей за этим досаднейшим приключением, все мои помыслы были отданы Катрине. Это ее пленительный образ вставал со страниц томов, над которыми я корпел, сидя в библиотеке бок о бок с добрым моим наставником; и Фотий, Олиомпиодор, Фабриций, Фоссий, казалось, наперебой рассказывали мне о миленькой девице в кружевной рубашечке. Эти видения нагоняли на меня лень. Но г-н Жером Куаньяр, равно снисходительный и к ближнему своему и к самому себе, только благодушно улыбался, видя мое томление и рассеянность.

— Жак Турнеброш, — как-то обратился он ко мне, — разве не удивляют тебя те изменения, какие претерпела мораль на протяжении веков? Книги, собранные в этой великолепной Астаракиане, наглядно свидетельствуют о неустойчивости воззрений человека на сей предмет. Если я говорю тебе это, сын мой, то лишь затем, чтобы внушить здравую и важную мысль, а именно: нет и не может быть добрых нравов вне религии, и все максимы философов, утверждающих, что они-де устанавливают некую естественную мораль, — все это вздор и гиль. Нравственность отнюдь не покоится на законах природы, ибо природа как таковая не только равнодушна к добру и злу, но даже не ведает этих понятий. Основа нравственности в слове божьем, которого не следует преступать, а раз преступивши, надобно покаяться в содеянном, как оно положено. Основа человеческих законов — полезность, но полезность эта в силу естественных причин — лишь иллюзия и видимость, ибо само собой разумеется, никто не знает в действительности, что полезно людям и чего им держаться. К тому же, если говорить о нашем обычном праве, то добрая половина его статей подсказана предрассудками и ничем иным. Законы человеческие, опирающиеся на угрозу кары, ничего не стоит обойти, прибегнув к хитрости и притворству. Любой человек, наделенный способностью мыслить, намного выше их. Они в сущности — ловушка, годная лишь для дурачков.

Иное дело, сын мой, законы божеские. Они непреложны, неотвратимы и неизменны. Их нелепость только кажущаяся, на деле же они таят непостижимую мудрость. И если подчас они оскорбляют наш разум, то лишь потому, что превосходят наше понимание и имеют целью не видимое, а истинное предназначение человека. Тому, кто, по счастью, познал их,

надлежит их блюсти. Подчас, признаюсь откровенно, блюсти эти законы, изложенные в десяти заповедях и в наставлениях святой церкви, затруднительно и даже невозможно, если только на вас не снизойдет благодать, а она порой не торопится, поскольку долг наш уповать на нее. Вот так и получается, что все мы жалкие грешники.

И в этом смысле всяческого восхищения достойны основы христианской религии, которая строит спасение на раскаянии. Заметь, сын мой, что самые прославленные святые выходили из числа кающихся, и коль скоро раскаяние соответствует проступку, то у самых великих грешников есть все данные стать величайшими святыми. Я мог бы подкрепить свою мысль десятком удивительных примеров. Но и из сказанного ты поймешь, что похоть, невоздержанность, все нечистые поползновения плоти и духа суть не что иное, как простой продукт, из коего и возникает святость. Итак, все дело в том, чтобы собрать его, обработать его, следуя законам богословского искусства, и слепить из него, если так можно выразиться, зримую статую покаяния, на что требуется несколько лет, несколько дней, а иногда достаточно и единого мига — в случаях полного и глубоко искреннего раскаяния. Жак Турнеброш, если ты правильно понял мысль мою, ты не растратишь своих сил на жалкие потуги стать порядочным человеком в понимании людском, а научишься отвечать законам небесной справедливости.

Я не преминул оценить высокую мудрость, заключенную в словах моего славного учителя. Однако ж я убоялся, что, применяя мораль вкривь и вкось, человек может натворить любые бесчинства. Я высказал свои сомнения г-ну Жерому Куаньяру, который рассеял их следующими словами:

— Якобус Турнеброш, ты пропустил мимо ушей мысль, на которой я особенно настаиваю; именно то, что зовется бесчинством, представляется таковым лишь глазам законников и судей как светских, так и церковных и исходит из законов человеческих, произвольных и недолговечных; короче говоря, следовать этим законам могут лишь овечьи души. Человек умный не столь щепетилен в исполнении правил, какими руководствуются суд светский и суд духовный. Он печется лишь о спасении души своей и не почитает для себя зазорным попасть на небеса окольными путями, которыми шли прославленнейшие из святых. Если бы блаженная Пелагея не занималась ремеслом, коим промышляет небезызвестная тебе Жаннета-арфистка на паперти храма святого Бенедикта Увечного, вышеупомянутая святая не имела бы случая явить пример столь всеобъемлющего и глубокого раскаяния, и весьма возможно, что, прожив жизнь в качестве

честной женщины, погрязшей в самой дюжинной и пошлой добропорядочности, она не играла бы сейчас, когда мы беседуем, на гуслях перед скинией, где почитет во всей славе своей святая святых. Неужели назовешь ты бесчинством столь благочинный путь — жизнь, предуготовленную для блаженства? Отнюдь нет! Пусть прибегает к этим низменным выражениям начальник полиции, который, хочу надеяться, после смерти своей не отыщет себе даже пяди на небесах, ибо все места там займут те несчастные, которых он нынче самым недостойным образом посылает в Убежище^[53]. Одно лишь следует почитать бесчинством, преступлением и злом в нашем брэнном мире, где все должно быть приноровлено и сообразовано с миром божественным, а именно — погибель души и вечное проклятие. Усвой же, Турнеброш, сын мой, что поступки, наиболее порицаемые людским мнением, могут иметь самый счастливый исход, и не пытайся поэтому примирить справедливость человеческую со справедливостью небесной, которая одна лишь справедлива, не в нашем понимании этого слова, а как таковая. Сейчас же, сын мой, ты весьма обяжешь меня, отыскав у Фоссия значение пяти-шести туманных выражений, встречающихся у Зосимы Панополитанского, с которым приходится бороться в непроглядной тьме витиеватостей, удивлявших даже прямодушного Аякса, по свидетельству Гомера, — князя поэтов и историков. У этих древних алхимиков довольно-таки тяжелый слог; Манилий, да простит мне господин д'Астарак, писал о тех же предметах куда изящнее.

Не успел еще мой добрый учитель произнести последних слов, как между нами выросла какая-то тень. То была тень г-на д'Астарака, или, вернее, сам г-н д'Астарак собственной персоной, тонкий и черный, как тень.

То ли он не расслышал замечания аббата, то ли пренебрег им, только он не выказал ни малейшего неудовольствия. Более того, он похвалил г-на Жерома Куаньяра за его рвение и ученость и добавил, что обширные познания аббата несомненно помогут завершить труд, равного которому еще не предпринимал человек. Затем, обернувшись ко мне, он промолвил:

— Сын мой, попрошу вас спуститься на минуту в мой кабинет, я намерен поведать вам знаменательную тайну.

Я последовал за г-ном д'Астараком в кабинет, где он принял нас в тот день, когда мы с учителем впервые пришли по его зову. Древние египтяне с позолоченными лицами по-прежнему стояли вдоль стен. На столе красовался стеклянный шар величиной с тыкву. Г-н д'Астарак опустился на софу, жестом пригласил меня сесть напротив, провел два-три раза по лбу

рукой, на которой блестели драгоценные камни и перстни с амулетами, и заговорил:

— Сын мой, я не оскорблю вас несправедливым предположением, что после нашей беседы на Лебязьем острове в вас еще живет сомнение в существовании сифов и саламандр, столь же подлинном, как и существование людей, и даже еще более достоверном, если измерять степень реальности продолжительностью явлений, в которых она себя утверждает, ибо существование это значительно превосходит пределы нашей жизни. Саламандры проносят свою молодость из столетия в столетие безо всякого для нее ущерба; некоторые из них воочию видели Ноя, Менеса^[54] и Пифагора. Не удивительно, что при такой сокровищнице воспоминаний и неуязвимой памяти они в беседе неотразимы. Говорят, что объятия мужчин дарят им бессмертие и что на ложе философа их влечет надежда на жизнь вечную. Но все это выдумки, на которые не поддается человек мыслящий. Общение полов не только не дает любовникам бессмертия, но служит знаменем смерти, и если б роду человеческому суждено было жить вечно, мы так и не познали бы любви. То же относится и к саламандрам, которые надеются обрести в объятиях мудреца лишь один из видов бессмертия: бессмертие рода. Разумный человек уповает только на такое бессмертие. Хотя я и не теряю надежды с помощью науки значительно продлить человеческую жизнь, ну, скажем, до пяти-шести веков, никогда я не тешил себя праздной мечтой сделать ее бесконечной. Только безумец дерзнет ниспровергнуть незыблемый порядок вещей. А посему, сын мой, отриньте, как пустую побасенку, мысль о бессмертии, даруемом поцелуем. Неслыханным позором покрыли себя те из кабалистов, что допустили подобное предположение. Тем не менее столь же достоверна склонность саламандр к любви человеческой. Вы не замедлите убедиться в этом на собственном опыте. Я должным образом подготовил вас к их появлению, и коль скоро с той памятной ночи, когда состоялось ваше посвящение, вы не оскорбили себя нечистой близостью с женщиной, вы будете вознаграждены за свое воздержание.

Не легко было мне при моем врожденном простодушии слушать похвалы, которые я заслужил вопреки своему желанию, и я уже решил признаться г-ну д'Астараку в своих греховных помыслах. Но он не дал мне рта открыть для чистосердечной исповеди и продолжал с живостью:

— Теперь мне остается лишь передать вам, сын мой, ключ, с помощью которого вы проникнете в царство духов. Что я и сделаю без промедления.

Поднявшись с софы, он положил руку на стеклянный шар, занимавший чуть ли не половину стола.

— Этот сосуд, — добавил он, — наполнен солнечной пылью, которая недоступна вашему органу зрения именно в силу своей совершенной чистоты. Ибо она слишком тонка, чтобы ее мог воспринять человек с помощью своих грубых чувств. Точно так же, сын мой, самые прекрасные уголки вселенной сокрыты от нашего взора и доступны лишь ученому, который вооружен приборами, годными для подобных целей. К примеру, для вас остаются невидимыми воздушные реки и равнины, хотя в действительности они представляют собою в тысячу раз более разнообразное и роскошное зрелище, нежели самый прекрасный земной пейзаж.

Итак, знайте, что в этом сосуде содержится солнечный порошок, могущий с огромной силой распалить таящийся в нас огонь. И действие этого пламени не замедлит сказаться, оно выразится в крайнем обострений наших чувств, что позволит нам видеть и осязать воздушные создания, парящие вокруг нас. Как только вы сломите печать, закрывающую горлышко сосуда, и вдохнете испаряющуюся оттуда солнечную пыль, вы тут же обнаружите в этой самой комнате одно или несколько существ, напоминающих женщину сочетанием кривых линий, очерчивающих контуры их тела, несравненно более прекрасного, чем у любой смертной; они-то и есть саламандры. Не сомневаюсь, что та, которую я в минувшем году увидел в харчевне вашего батюшки, явится первой, и советую вам, не мешкая, пойти навстречу ее желаниям, ибо вы пришли к ней по вкусу. Итак, раскиньтесь удобнее в этих креслах перед столом, откупорьте сосуд и потихоньку вдыхайте его содержимое. И вскоре вы увидите, что все мои предсказания сбудутся с неукоснительной точностью. Я уйду. Прощайте.

И он исчез, как обычно, с непостижимой быстротой. Я остался один и сидел перед стеклянным сосудом, не решаясь откупорить его из страха, как бы оттуда не полился ядовитый дурман. Я опасался, что искушенный в магии г-н д'Астарак наполнил сосуд парами, вдохнув которые человек в сонном мечтании видит саламандр. В ту пору я еще не был достаточно философом и не нуждался в блаженстве, даруемом таким путем. «А вдруг, — твердил я про себя, — пары эти располагают к безумию». Короче, сомнения мои были так велики, что я решил даже сбегать в библиотеку и попросить совета у г-на аббата Жерома Куаньяра, но тут же я понял, что это напрасная затея. «Как только Жером Куаньяр услышит, — говорил я себе, — о солнечном порошке и духах воздуха, он тут же скажет: «Жак Турнеброш, сын мой, запомни раз навсегда: не следует давать веры бессмыслице, а надобно полагаться лишь на собственный разум во всем, за исключением вопросов святой нашей религии. Брось все эти сосуды,

порошки и прочие безумные выдумки кабалистов и алхимиков».

Мне показалось, что не я, а он сам произносит эту речь меж двух понюшек табака, и я не нашел возражения против этих истинно христианских слов. С другой стороны, я заранее представлял себе, как буду я смущенно лепетать, когда г-н д'Астарак осведомится у меня, как обстоит дело с моей саламандрой. Что ему отвечать? Как признаться в осторожности и воздержанности, не выдав одновременно моего недоверия и страха? И к тому же меня бессознательно соблазняла мысль о приключении. Легковерным меня не назовешь. Напротив того, я наделен редкостной склонностью к сомнению, и этому качеству обязан я тем, что доверяю общепринятым мнениям и даже самой очевидности не более, чем всему прочему. Какие бы странные вещи мне ни рассказывали, я говорю себе: «А почему бы и нет?» Но сейчас это «почему бы и нет» сослужило недобрую службу моей прирожденной рассудительности. Оно склонило меня к легковерию, и в этих обстоятельствах любопытно заметить следующее: не верить ни во что — то же самое, что верить во все, и не следует предоставлять своему уму слишком много свободы и досуга, иначе голова, чего доброго, превратится в хранилище такого причудливого и такого тяжеловесного хлама, какому не найдется места в уме, скромно и в меру обставленном верованиями. Положив руку на восковую печать, я вспоминал матушкины рассказы о чудесных графинах, а тем временем мое «почему бы и нет» нашептывало мне: а вдруг вопреки всему я увижу в солнечной пыли воздушных фей? Но как только эта мысль проскользнула в мой разум, как только попыталась расположиться там со всеми удобствами, она тут же показалась мне странной, нелепой и смешной. Навязчивые идеи быстро наглеют. Редкая из них придет и уйдет, как промелькнувшая на улице прекрасная незнакомка; а уж эта и впрямь была сродни безумию. Твердя про себя: «Открыть? Не открыть?», я все сильнее нажимал на печать, пока она вдруг не сломалась под моими пальцами, и сосуд открылся.

Я ждал, я наблюдал. Я ничего не видел, я ничего не чувствовал. Мной овладело разочарование, ибо надежда вырваться за пределы естества весьма коварна и ловко умеет проскользнуть в нашу душу. Ровно ничего! Хоть бы какое-нибудь смутное неясное видение, хоть бы расплывчатый контур. Сбылись мои предчувствия. Какое разочарование! Я испытывал даже досаду. Откинувшись на спинку кресла, с вызовом глядя на стоявших вдоль стен египтян с продолговатыми черными глазами, я поклялся замкнуть отныне свою душу для всяческой лжи кабалистов. В который раз я убедился в мудрости доброго моего наставника и решил, следуя его

примеру, во всех делах, не связанных с христианской и католической верой, руководствоваться лишь разумом. Ждать появления мамзель-саламандры — непростительное простодушие. Да и возможно ли допустить существование саламандр? Но кто знает, «а почему бы и нет?»

Жара, начавшаяся еще к полудню, стала непереносимой. Долгие дни, проведенные в мирном затворничестве, истомили меня, и я почувствовал на лбу и веках подозрительную тяжесть. Приближение грозы окончательно лишило меня сил. Руки мои упали, голова откинулась на спинку кресел, веки смежились, и в полусне предо мною замелькали золотики египтяне и какие-то похотливые тени. Не скажу, сколько времени находился я в этом странном состоянии, когда одно только чувство — любовь — теплилось во мне подобно огоньку в ночи, как вдруг я очнулся, выведенный из дремоты шуршанием шелков и легкими шагами. Я открыл глаза и громко вскрикнул.

Восхитительное создание в черном атласном платье, в кружевной косынке на темных волосах стояло предо мною; черты лица синеглазой красавицы поражали чистотой линий, какая дается только молодости с ее свежей и упругой кожей, щечки нежно круглились, а на устах играл след невидимого поцелуя. Из-под недлинного платья выглядывала крохотная ножка, задорная, веселая, поистине неземная ножка. Выпрямившись во весь рост, стояла незнакомка предо мною, вся округлая, подобранная в своем сладострастном совершенстве. Ниже бархотки, обвивавшей шею, в четырехугольном вырезе платья, виднелась смуглая, но ослепительно прекрасная грудь. Незнакомка смотрела на меня с любопытством.

Выше я упоминал, что сон предрасположил меня к любви. Я поднялся с кресла, я бросился к ней.

— Простите, — промолвила незнакомка, — я искала господина д'Астарака.

Я ответил ей:

— Сударыня, здесь нет никакого господина д'Астарака. Здесь только нас двое — вы и я. Я ждал вас. Вы — моя саламандра. Я открыл хрустальный сосуд. Вы явились, и вы моя.

С этими словами я заключил ее в объятия и стал осыпать бесчисленными поцелуями все свободные от покровов уголки ее тела, которые удалось обнаружить моим губам.

Вырвавшись от меня, она воскликнула:

— Вы безумец!

— Возможно, — отвечал я. — Но кто бы не лишился разума на моем месте?

Она потупила глазки, покраснела и улыбнулась. Я бросился к ее ногам.

— Раз господина д'Астарака здесь нет, — сказала она, — мне остается уйти.

— Не уходите! — вскричал я и запер дверь на задвижку.

Она спросила:

— А не знаете ли вы, скоро он вернется?

— Нет, сударыня, не скоро. Он оставил меня наедине с саламандрами. А я хочу только одну из них — вас.

Я взял ее на руки, отнес на софу, упал вместе с нею на ложе и стал покрывать ее поцелуями. Я ничего не сознавал. Она кричала, но я не слышал. Ее ладони отталкивали меня, меня царапали ее ногти, но эта обреченная на неудачу защита лишь обостряла мои желания. Я сжимал ее в объятиях, я обнимал ее — упавшую навзничь и беззащитную. Наконец ее ослабевшее тело уступило, она закрыла глаза; и вскоре в довершение своего торжества я почувствовал, как прелестные руки, сдавшиеся на милость победителя, прижали меня к груди.

Когда вслед за этим нам, увы, пришлось разжать объятия, мы с удивлением взглянули друг на друга. Она молча стала оправлять смятые юбки, торопясь вернуться в мир благопристойности.

— Я люблю вас, — произнес я. — Как вас зовут?

Я не верил, чтобы она была саламандрой, по правде говоря ни минуты не верил по-настоящему.

— Меня зовут Иахиль, — ответила она.

— Как! Вы племянница Мозаида?

— Да, но молчите. Если бы он знал...

— Что бы он тогда сделал?

— О, мне ничего. Но вам — много плохого. Он не любит христиан.

— А вы?

— А я, я не люблю евреев.

— Иахиль, любите ли вы меня хоть немного?

— Мне кажется, сударь, после состоявшейся между нами беседы ваш вопрос звучит оскорбительно.

— Вы правы, мадемуазель, но мне хотелось бы оправдаться за излишнюю свою живость и пыл: они проявили себя не испросив вашего сердца;

— Ах, сударь, не считайте себя более виноватым, чем виноваты вы на самом деле. Все ваше неистовство и весь ваш жар не послужили бы вам ни к чему, если бы вы не приглянулись мне. Увидев вас спящим в кресле, я сочла вас достойным моего внимания и решила подождать, когда вы проснетесь; остальное вам известно. Я ответил ей поцелуем. Она вернула

мне поцелуй, И какой! Мне показалось, что во рту у меня растаяла ягода земляники. Желания мои пробудились вновь, и я пылко прижал ее к своему сердцу.

— На сей раз, — посоветовала она мне, — не надобно так увлекаться и думать лишь о себе. Стыдно быть эгоистом в любви. Молодые люди часто погрешают в этом отношении. Но постепенно их обтесывают.

Мы погрузились в бездну наслаждения, после чего божественная Иахиль спросила меня:

— Есть ли у вас гребень? Я растрепана, как ведьма.

— Нет у меня гребня, Иахиль, — отвечивал я; — я ведь ждал саламандру. Я обожаю вас.

— Обожайте, друг мой, но только берегитесь. Вы еще не знаете Мозаида.

— Как, Иахиль! Неужели он так страшен в свои сто тридцать лет, из которых семьдесят пять к тому же просидел в пирамиде?

— Я вижу, друг мой, вам наговорили разных небылиц о моем дядюшке, и вы имели наивность поверить им. Никто не знает его настоящего возраста; даже я сама не знаю, но сколько помню его, он всегда был стариком. Знаю только, что он крепок и обладает недюжинной силой. Он держал в Лиссабоне банкирскую контору, но убил христианина, которого застал с моей теткой Мириам. Он бежал, захватив меня с собой. И привязался ко мне с тех пор, как родная мать. Он обращается со мной, будто с малым ребенком, и плачет от умиления, глядя на меня спящую.

— Вы живете с ним вместе?

— Да, во флигельке на том конце парка.

— Знаю, туда ведет тропка мандрагор. Как могло статься, что я не встретил вас раньше? По какому велению злой судьбы я, живя в столь близком от вас соседстве, ни разу не видел вас? Как, я сказал «живя»? Осмелюсь ли я назвать жизнью прозябание, бывшее моим уделом до встречи с вами. Неужели флигелек стал вам тюрьмой?

— Вы правы, я живу затворницей и не могу отправиться по собственной воле ни на прогулку, ни за покупками или в комедию. Привязанность Мозаида лишает меня свободы. Он сторожит меня, как ревнивец, и, не считая полдюжины золотых чашечек, которые вывез из Лиссабона, любит во всем свете только меня одну. Он любит меня даже сильнее, чем любил мою тетушку Мириам, и потому убьет вас еще с большей охотой, чем того португальца. Я говорю вам это для того, чтобы призвать вас к осторожности и еще потому, что такое соображение не может остановить настоящего мужчину. Достаточно ли вы высокого

происхождения, друг мой, из какой вы семьи?

— Увы, — вздохнул я, — мой батюшка посвятил себя некоему ремеслу и ведет некие торговые дела.

— Есть ли у него хотя бы какое-нибудь звание, доходная должность? Нет? Жаль. Придется любить вас ради ваших собственных достоинств. Но скажите мне правду: скоро ли вернется господин д'Астарак?

Услышав это имя и обращенный ко мне вопрос, я почувствовал, как в душу мою закралось ужасное подозрение. В моем уме мелькнула догадка, что кабалист с умыслом подослал ко мне прелестную Иахиль, дабы она разыграла для меня роль саламандры. Более того, в душе я упрекал ее за то, что она, должно быть, и есть нимфа, отдавшая свою благосклонность старому безумцу. Желая положить конец сомнениям, я в упор спросил ее, не является ли роль саламандры ее обычной ролью в замке гасконца.

— Я вас не понимаю, — ответила она, с невинным удивлением вскинув на меня глаза. — Вы говорите не хуже самого господина д'Астарака, и я подумала бы, что вы страдаете той же манией, если бы не испытала на себе, что вам чуждо его женоненавистничество. Господин д'Астарак не переносит присутствия женщины, и при каждой встрече и беседе с ним я испытываю непреодолимое стеснение. Однако ж сейчас я искала его, а нашла вас.

Успокоенный и счастливый, я вновь покрыл ее поцелуями. А она уселась напротив меня с таким расчетом, чтоб оказались видны ее черные чулочки, схваченные выше колен подвязками с бриллиантовыми пряжками, и это зрелище вернуло меня на тот путь, которому с удовольствием следовала Иахиль. Более того, она искусно и с немалым пылом поощряла меня в нашем странствии, и от меня не укрылось, что игра начинает особенно воодушевлять ее в ту минуту, когда мои силы приходят к концу. Тем не менее я постарался превзойти самого себя и, к огромной моей радости, избавил очаровательное создание от вовсе ею не заслуженного афронта. Думаю, она осталась довольна мной. Она села на софу и спокойно спросила:

— Вам действительно неизвестно, скоро ли возвратится господин д'Астарак? Признаюсь, я пришла попросить у него из назначенного дядюшке содержания небольшую сумму, которая мне нужна сейчас до зарезу.

Прося извинения за скудость, я вынул из кошелька три находившиеся там экю, и она соблаговолила принять их. Это все, что осталось от нечастых щедрот кабалиста, который исповедуя презрение к деньгам, увы, забывал выплачивать мне обещанное содержание.

Я осведомился у мадемуазель Иахили, буду ли я иметь счастье вновь увидеть ее.

— Будете, — пообещала она.

И мы уговорились, что всякий раз, когда ночью ей удастся ускользнуть из-под строгого надзора, она станет приходить в мою комнату.

— Только запомните хорошенько, — сказал я, — моя комната четвертая но коридору направо, а пятую занимает мой добрый наставник аббат Куаньяр. Все прочие горницы, — добавил я, — выводят на чердак, служащий приютом для двух-трех поварят и целого полчища крыс.

Иахиль уверила меня, что постарается не ошибиться и тихонько постучит именно в мою дверь, а никак не в чужую.

— Впрочем, — заметила она, — ваш аббат Куаньяр, на мой взгляд, человек славный. Думаю, его бояться нам нечего. В тот день, когда вы приходили с ним к дядюшке, я видела его через глазок. Он показался мне весьма милым, хоть я и не расслышала его речей. Особенно приятно поразил меня его нос — такие бывают лишь у людей остроумных и одаренных. Поэтому владелец его несомненно человек одаренный, и я не прочь завести с ним знакомство. В обществе умных людей можно многого набраться. Обидно только, что он не угодил дядюшке своими вольными речами и насмешливым нравом. Мозаид его ненавидит, а к ненависти у него положительно талант, о котором не может и помыслить христианин.

— Мадемуазель, — заметил я, — господин аббат Жером Куаньяр преученейший человек и, что еще важнее, славится философским складом ума и доброжелательностью. Он знает людей, и вы совершенно справедливо ждете от него доброго совета. Я свято руковожусь его мнениями. Но скажите, не заметили ли вы также и меня тогда во флигельке, когда глядели, по вашим словам, через глазок?

— Заметила, — сказала Иахиль, — и не скрою, сразу вас отличила. Но пора возвращаться к дядюшке. Прощайте.

После ужина г-н д'Астарак не преминул спросить меня про саламандру. Его любопытство несколько смутило меня. Я отвечал, что встреча превзошла все мои ожидания, но что я долгом своим почитаю соблюдать скромность, приличествующую в такого рода приключениях.

— Напрасно вы, сын мой, думаете, — возразил он, — что скромность так уж необходима в подобных делах. Саламандры вовсе не настаивают на сохранении тайны, ибо отнюдь не стыдятся своих чувств. Одна из этих нимф, та, что дарит меня своим расположением, весь досуг в мое отсутствие посвящает сладостному для нее занятию: она вырезывает наши затейливо переплетенные инициалы на деревьях, в чем вы можете легко

убедиться сами — осмотрите стволы пяти или шести сосен, стройные верхушки которых видны отсюда. Но заметили ли вы, сын мой, что любовь подобного рода — поистине небесная любовь, — не только не оставляет после себя усталости, но и дает сердцу новые силы? Не сомневаюсь, что после всего случившегося с вами вы посвятите ночные часы трудам и переведете не менее шестидесяти страниц из Зосимы Панополитанского.

Я признался, что, наоборот, чувствую неодолимое влечение ко сну, каковое г-н д'Астарак приписал потрясению первой встречи. Итак, сей великий муж остался при убеждении, что я вступил в общение с саламандрой. Как ни мучила меня совесть за обман, я был вынужден к этому обстоятельствами, И коль скоро сам философ обманывал себя за милую душу, мог ли я хоть на йоту увеличить груз его заблуждений. Потому я с миром отправился почивать и, улегшись в постель, задул свечу, тем закончив самый упоительный из всех доселе прожитых мною дней.

* * *

Иахиль сдержала слово. На следующую ночь она тихонько постучала в мою дверь. Мы расположились в моей спальне с гораздо большим удобством, чем в кабинете г-на д'Астарака, и то, что произошло при нашем первом знакомстве, оказалось ребяческой забавой в сравнении с тем, на что вдохновила нас любовь при этой второй встрече. Иахиль вырвалась из моих объятий лишь на заре и перед разлукой тысячу раз поклялась в новой и скорой встрече, называя меня при этом душенькой, своей жизнью и котиком.

В тот день я поднялся очень поздно. Когда я спустился в библиотеку, мой учитель уже корпел над папирусом Зосимы; он держал в одной руке перо, а в другой — лупу, и картина эта умилила бы любого почитателя наук.

— Жак Турнеброш, — сказал он мне, — главная трудность таких занятий заключается в том, что нет ничего легче, как принять одну букву за другую, и в расшифровке писем мы можем преуспеть лишь в том случае, если составим таблицу начертаний, приводящих к ошибкам; иначе, не приняв нужной предосторожности, мы рискуем допустить грубейшие промахи к вечному позору и справедливой хуле. Сегодня я уже совершил ряд смехотворных ошибок. Надо полагать, причина этого кроется в смятении духа, в каковом нахожусь я с самого утра вследствие ночных приключений, о коих я вам сейчас поведаю.

Проснувшись на заре, я возымел желание глотнуть доброго белого вина, которое, если вы помните, я хвалил вчера господину д'Астараку. Ибо существует, сын мой, меж белым вином и пением петуха некая тайная взаимосвязь, восходящая еще ко временам Ноя, и я уверен, что если бы апостол Петр в ту святую ночь, которую он провел во дворе первосвященника, хлебнул бы чуточку мозельвейна или пусть даже орлеанского вина, он не предал бы Христа^[55], прежде чем вторично пропел петух. Но не следует, сын мой, ни в коем случае сожалеть об этом недостойном поступке, ибо пророчества должны неукоснительно сбываться, и если бы Петр, он же Кифа, не совершил в ту ночь величайшей низости, не быть бы ему ныне в сонме величайших праведников рая, не стать бы краеугольным камнем святой нашей церкви к великому конфузу честных, в мирском понимании этого слова, людей, зрящих ключи к вечному своему блаженству в руке трусливого негодяя. О спасительный

пример, отрешающий человека от обмана, суетности тщеславия и наставляющий его на путь спасения! О, сколь целесообразно устроена религия! О божественная мудрость, возвышающая смиренного и нищего духом во посрамление гордецу! О чудо! Тайна сия велика есть! К вечному позору фарисеев и законников простой рыбарь с Тивериадского озера, ставший за свою непроходимую подлость предметом насмешек судомоек, гревшихся с ним вместе во дворе первосвященника, мужлан и трус, предавший своего учителя и свою веру перед девицами, несомненно куда менее миловидными, чем горничная супруги сеэзского судьи, днесь носит на челе тройную корону, на пальце — папский перстень, вознесен превыше всех архиепископов, королей и даже императора и облечен правом отпускать или не отпускать грехи; самый уважаемый мужчина, саман почтенная дама не попадут на небеса без его разрешения. Но подскажите мне, будьте добры, Турнеброш, сын мой, на чем бишь это я прервал свой рассказ, когда в сети его затесался святой Петр, князь апостолов? Припоминаю, что я говорил о чарке белого вина, которую опрокинул на заре. В ночной рубашке я спустился в буфетную и из поставца, ключ от которого благоразумно припрятал еще с вечера, извлек бутылочку и распил ее не без удовольствия. После чего, подымаясь по лестнице, я между вторым и третьим этажом повстречал девушку в ночном наряде, спускавшуюся по ступеням. Она, как видно, насмерть перепугалась и бросилась от меня по коридору. Я пустился вслед за ней, настиг ее, схватил в объятия и поцеловал в порыве внезапного и непобедимого влечения. Не порицайте меня, сын мой; на моем месте вы сделали бы то же, а возможно, и более того. Эта красивая девица похожа на горничную супруги судьи, только взгляд ее еще живее. Она даже крикнуть не посмела. И шепнула мне на ухо: «Пустите меня, пустите меня, вы с ума сошли!» Взгляните-ка, Турнеброш, до сих пор у меня на руке видны следы ее ноготков. О, если бы удалось мне сохранить столь же неприкосновенным вкус поцелуя, которым она меня подарила!

— Как, господин аббат, — воскликнул я, — неужели она поцеловала вас?

— Можете не сомневаться, сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — на моем месте вы получили бы такой же поцелуй, при том условии, конечно, что сумели бы, как и я, воспользоваться счастливым случаем. Кажется, я уже говорил вам, что крепко держал ее в объятиях. Она пыталась вырваться, хотела кричать и боялась, она жалобно шептала: «Пустите меня, молю вас! Уже светает, еще минута, и я погибла!» Даже варвара, и того тронул бы ее страх, растерянный вид и грозящая ей

опасность. Я же отнюдь не варвар. Я дал ей свободу в обмен на поцелуй, который она тут же запечатлела на моих устах. Поверьте слову: ни разу в жизни не доводилось мне вкушать более сладостного лобзания.

Тут, прервав свой рассказ, мой добрый учитель поднял от бумаг нос, чтобы зарядить его понюшкой табака; заметив мое смущение и грусть, он счел их знаком изумления.

— Жак Турнеброш, конец моего рассказа удивит вас куда сильнее, — продолжал он. — Итак, к великому своему сожалению, я выпустил красотку, но, влекомый любопытством, последовал за ней. По ее пятам я спустился с лестницы, видел, как пересекла она прихожую, выскользнула через калитку, выводящую в поле, к которому примыкает главная часть парка, и побежала по аллее. Я бежал за ней следом. Я справедливо рассудил, что не может же она явиться к нам издалека, в ночной рубашонке и ночном чепце. Она свернула на тропку мандрагор. Тут любопытство мое возросло, и я тоже приблизился к флигельку, занимаемому Мозаидом. В это мгновение в окне показалась фигура богомерзкого еврея все в том же балахоне и в том же огромном колпаке, и я невольно подумал о тех деревянных уродцах, которые ровно в полдень появляются на цоколе башенных часов, столь же старинных и столь же забавных, как и сами церковные башни, где они водружены, появляются к вящему удовольствию мужиков и к выгоде причетников.

Он обнаружил мое присутствие среди густой листвы как раз в ту самую минуту, когда наша прелестница, не уступающая в быстроте Галатее, шмыгнула во флигелек; словом, могло показаться, будто я преследовал красотку по примеру сатиров, о коих мы с вами как-то беседовали, разбирая прекрасные строки Овидия. Да и туалет мой усугублял сходство, ибо, надеюсь, я уже сказал вам, Турнеброш, что был я в одной ночной рубашке. При виде меня глаза Мозаида сверкнули. Из-под полы своей грязной желтой хламиды он вытащил стилет, довольно миленький стилетик, и стал в окне размахивать рукой, которая, признаюсь, по виду вовсе не кажется такой уж дряхлой. Тем временем он осыпал меня двуязычной бранью. Да, да, Турнеброш, сын мой, грамматические познания позволяют мне утверждать, что ругался он на двух языках; испанские, а скорее португальские проклятия перемежались с древнееврейскими. Я был вне себя, так как мне не удавалось уловить их точный смысл, поскольку языки эти мне незнакомы, хотя я отличу их от прочих благодаря некоторым присущим им звукосочетаниям. Но, надо полагать, он обвинял меня в намерении соблазнить эту девицу, а она, должно быть, и есть его племянница Иахиль, о которой, если помните, не раз упоминал господин

д'Астарак, в связи с чем хула его в известной мере прозвучала даже лестью, ибо таким, каким я стал ныне, сын мой, в силу беспощадного бега времени и утомления — следствия беспокойной моей жизни, — я уже не могу рассчитывать на благосклонность юных девственниц. Увы! Никогда более не вкушу я от сего лакомого блюда, разве что стану епископом. О чем и сожалею! Но не следует с излишним упорством цепляться за преходящие мирские блага, научимся отказываться от того, в чем нам отказано. Итак, Мозайд, размахивая стилетом, извлекал из свой глотки хриплые звуки, перемежавшиеся с пронзительным визгом, так что хула и поношения раздавались мне в тоне песнопений или кантилен. И не хвалясь, сын мой, скажу, что был я обозван распутником и совратителем весьма торжественно, как бы с амвона. Когда вышеупомянутый Мозайд исчерпал свои проклятия, я постарался дать ему достойную отповедь, тоже на двух языках. По-латыни и по-французски ответил я ему, что он сам человекоубийца и святотатец, коль скоро душит невинных младенцев и оскверняет святое причастие. Свежий утренний ветер, овевавший мне ноги, напомнил, что я стою перед окном в одной рубашке. Это привело меня в некоторое замешательство, ибо, согласитесь, сын мой, что человек, забывший надеть панталоны, не совсем подготовлен к тому, чтобы вещать святую истину, громить заблуждения и бичевать пороки. Тем не менее я сумел нарисовать перед ним ужасающую картину его преступлений и пригрозил ему судом божьим и судом человеческим.

— Как, мой дорогой учитель, — воскликнул я, — значит, этот Мозайд, у которого такая миленькая племянница, удушал новорожденных младенцев и осквернял святое причастие?

— На сей счет ничего не знаю, — отвечал г-н Жером Куаньяр, — да и не могу ничего знать. Но, будучи сыном своего народа, он причастен к сим преступлениям, и потому я вправе был сказать ему это, и никто не упрекнет меня в том, что я его оскорбил. Понося этого нехристя, я рикошетом метил в его извергов-прадедов и прапрадедов. Ибо вы сами знаете, что говорят о евреях и их гнусных обрядах. В старинной Нюренбергской хронике имеется изображение евреев, закалывающих младенца, и в знак своего бесчестия они должны носить на одежде цветной круг ила кружок, чтоб их узнавали с первого взгляда. Я все же не верю, что они ничтоже сумняшеся и каждодневно убивают по младенцу. И сомневаюсь также, что все эти израильтяне так уж стремятся осквернить святое причастие. Обвинять их в этом — значит полагать, что они столь же глубоко, как и мы сами, верят в божественное происхождение господина нашего Иисуса Христа. Ибо нет кощунства без веры, так что иудей, осквернивший святое причастие, тем

самым подтвердил бы свое безоговорочное признание таинства пресуществления. Пусть, сын мой, такие побасенки повторяют глупцы, и если я бросил их в лицо этому непотребному Мозаиду, то повиновался при том не столько духу здоровой критики, сколько властному голосу гнева и досады.

— Ах, сударь, — сказал я, — за глаза хватило бы попрекнуть Мозаида португальцем, которого он убил из ревности, ибо он действительно настоящий убийца.

— Как! — вскричал мой добрый наставник. — Мозайд убил христианина? В его лице, Турнеброш, мы имеем опасного соседа. Но из утреннего происшествия вы выведете те же заключения, что и я. Совершенно бесспорно, что племянница Мозаида — подружка нашего господина д'Астарака, из чьей спальни она и пробиралась на заре, когда я застиг ее на лестнице. Я слишком привержен святой религии и не могу не сожалеть о том, что столь приятная особа принадлежит к расе, распявшей Иисуса Христа. Ибо — увы! — бесспорно, сын мой, что сей мерзкий Мардохей приходится дядей сей Эсфири^[56] которой нет нужды умащать себя в течение полугода миррой, дабы стать достойной царского ложа. Наш старый ворон-алхимик меньше всего может соответствовать подобной красе, и я бы не прочь поволочиться за ней.

Понятно, что Мозайд бережет ее как зеницу ока, ибо если в один прекрасный день она появится при дворе или на театральном представлении, назавтра же весь свет будет у ее ног. А хотелось бы вам, Турнеброш, увидеть ее?

Я ответил, что хочу этого страстно, и мы оба углубились в наши греческие папирусы.

* * *

В тот вечер, когда мы вдвоем с добрым моим учителем проходили улицей Бак, стояла невыносимая жара, и г-н Жером Куаньяр сказал мне:

— Жак Турнеброш, сын мой, не склонен ли ты свернуть налево на улицу Гренель и зайти в кабачок? Не забывай, что мы не сразу найдем такой, где отпускают вино по два су за кувшин. Я совсем обезденежел и полагаю, сын мой, что и ты не в лучшем положении по вине господина д'Астарака, который, быть может, и делает золото, но забывает давать его своим секретарям и слугам, чему свидетельство наши карманы. Положение, в которое мы попали благодаря ему, поистине плачевно. У меня гроша ломаного нет, и придется пуститься на разные хитрости, чтобы выбраться из беды. Легко нести бремя нищеты, когда ты невозмутимостью духа равен Эпиктету, стяжавшему себе на этом пути неувядаемую славу. Но испытания нищеты утомили меня и прискучили мне своим постоянством. Чувствую, пришло время обратиться к иным добродетелям и научиться владеть богатствами так, чтобы они не завладели тобой, а это является наиболее благородным состоянием, до которого может подняться душа философа. Надеюсь в ближайшем времени разбогатеть немного с целью показать, что благоденствие не вредит мудрости. Я ищу лучшие к тому способы, и ты, Турнеброш, застаешь меня в думах о преуспейнии.

Пока мой учитель с обычным своим благородным изяществом распространялся на эту тему, мы поравнялись с хорошеньким особнячком, где г-н де ла Геритод поселил мамзель Катрину. «Вы узнаете мое жилище, — сказала она мне тогда, — по увитому розами балкону». Уже вечерело, и я не мог различить роз, но зато мне показалось, что я обоняю их аромат. Пройдя еще несколько шагов, я увидел и саму Катрину, — с кувшином в руке, она стояла у окна и поливала цветы. Узнав меня, она засмеялась и послала мне воздушный поцелуй. Вслед за тем чья-то рука, высунувшаяся из-за оконной створки, дала Катрине звонкую пощечину, чего она, видимо, никак не ожидала, ибо выпустила из рук кувшин, и он в падении своем чуть не раскроил голову доброго моего наставника. Затем заушенная прелестница исчезла, а заушатель, заняв ее место у окна, перевесился через решетку и крикнул мне:

— Благодарите бога, сударь, что вы не капуцин! Не могу я терпеть, чтобы моя любовница посылала поцелуи этому смрадному псу, что бродит день и ночь под ее окошком. Сейчас мне хоть не приходится краснеть за ее

выбор. На мой взгляд, вы человек порядочный, и, сдастся, мы уже с вами где-то встречались. Сделайте милость, зайдите к нам. Стол давно накрыт. Вы весьма обяжете меня, если согласитесь отужинать со мной, это касается и господина аббата, которого чуть не убили кувшином и который отряхивается сейчас, как дворняга под ливнем. После ужина перекинемся в картишки, а когда рассветет, отправимся в поле и перережем друг другу глотки. Но это будет лишь выражением чистейшей учтивости с моей стороны и знаком моего к вам, сударь, уважения, ибо, откровенно говоря, эта девка не стоит удара шпаги. Да я эту мошенницу и видеть больше не хочу.

Я узнал в говорившем того самого г-на д'Анктиля, которого уже видел давеча, когда он подуськивал своих слуг колотить в зад брата Ангела. Со мной он говорил вежливо и обращался как с дворянином. Я не преминул оценить благорасположение г-на д'Анктиля, выразившееся в готовности перерезать мне глотку. Мой добрый учитель тоже не устоял против такой обходительности.

Стряхнув с себя последние капли воды, он промолвил:

— Жак Турнеброш, сын мой, нельзя пренебречь столь любезным приглашением.

Навстречу нам уже спускались двое слуг, неся в руках зажженные факелы. Они провели нас в залу, где на столе, освещенном двумя серебряными канделябрами, был готов холодный ужин. Г-н д'Анктель пригласил нас садиться, и мой добрый учитель повязал салфетку вокруг шеи. Он уже подцепил было на вилку жареного дрозда, как вдруг до нашего слуха донеслись жалобные стоны.

— Не обращайтесь внимания, — посоветовал нам г-н д'Анктель, — это ревет Катрина, которую я запер в спальне.

— Ах, сударь, простите ее, — ответил мой добрый учитель, взирая не без грусти на птичку, поддетую на трезубец его вилки. — Самая вкусная пища, будучи приправлена слезами и стенаниями, становится горше полыни. Неужели можете вы спокойно слышать женский плач? Простите ее, ведь вся ее вина заключается в том, что она послала поцелуй юному моему ученику, который был ее соседом и приятелем еще в те времена, когда оба они прозябали в серости и достоинства этой красотки были оценены лишь узким кругом посетителей «Малютки Бахуса». Поступок поистине невинный, если, конечно, любое человеческое деяние, а особенно деяние женщины, может быть вообще невинным и совершенно чистым от первородного греха. Позвольте присовокупить, сударь, что ревность есть чувство первобытное, прискорбный пережиток варварских нравов, коему

нет места в душе изящной и высокородной.

— Господин аббат, — ответил г-н д'Анктиль, — откуда вывели вы заключение о том, что я ревную? Я не ревнив. Но не потерплю, чтобы женщина насмехалась надо мною.

— Все мы игралище ветров, — со вздохом промолвил мой добрый наставник. — Все смеется над нами — и небеса, и звезды, и дождь, и зефиры, и тень, и свет, и женщина. Соблаговолите разрешить Катрине отужинать. Она хороша собой и украсит наше общество.

Даже все прегрешения — этот поцелуй и прочее — не умаляют для нашего глаза ее прелестей. Измена не уродует женского облика. Природа, которая с такой охотой украшает женщин, равнодушна к их проступкам. Так последуйте же ее примеру, сударь, и простите Катрину.

Я присоединился к просьбам моего учителя, и г-н д'Анктиль согласился вернуть пленнице свободу. Он подошел к двери, откуда доносились стенания, приоткрыл ее и окликнул Катрину, которая ответила на зов еще более громкими стонами.

— Господа, — обратился к нам любовник, — вот глядите, она лежит ничком на кровати, зарывшись головой в подушки, и при каждом приступе рыданий нелепо вскидывает крупом. Прошу вас, полюбуйтесь. Вот из-за чего мы так страдаем и делаем столько глупостей!.. Катрина, иди ужинать.

Но Катрина не шелохнулась и зарыдала еще пуще. Г-н д'Анктиль взял ее за руку, приподнял за талию. Она вырывалась. А он настаивал:

— Ну, идем, идем, крошка.

Однако Катрина не пожелала покинуть облюбованную позицию и судорожно цеплялась за борта кровати и тюфяки.

Ее любовник потерял терпение и грубо заорал, уснащая свою речь проклятиями:

— Вставай, шлюха!

При этих словах Катрина поднялась с постели и, улыбаясь сквозь слезы, взяла его под руку и вышла в залу с видом блаженствующей жертвы.

Она уселась между господином д'Анктилем и мной, склонила головку на плечо своего любовника, а ножкой нащупала под столом мой башмак.

— Господа, — проговорил наш хозяин, — прошу извинить меня за невоздержанное выражение своих чувств, о чем я, впрочем, не сожалею, ибо именно этому я обязан честью принимать вас здесь. Я в самом деле не желаю терпеть бесконечные капризы этой милашки, и с тех пор, как застал ее с капуцином, со мной шутки плохи.

— Друг мой, вас ослепляет ревность, — возразила Катрина, пожимая под столом своей ножкой мою. — Знайте же, что мне по вкусу один только

господин Жак.

— Шутит, — буркнул г-н д'Анктиль.

— Не сомневайтесь, — подтвердил я. — Она любит только вас, это сразу видно.

— Могу сказать, не хвалясь, — заметил он, — я сумел внушить ей кой-какое чувство. Но она кокетка.

— Выпьем! — возгласил аббат Куаньяр.

Господин д'Анктиль пододвинул к моему учителю большую, оплетенную соломой бутылку и воскликнул:

— Вы, аббат, человек церковный, черт побери, объясните же хоть вы нам, почему женщины так любят капуцинов?

Господин Куаньяр утер губы и промолвил:

— Причина этому та, что капуцины и в любви хранят смирение и ни от чего не отказываются. А вторая причина та, что природные их инстинкты не сдерживаются ни размышлением, ни соображениями учтивости. У вас, сударь, прекрасное вино.

— Вы мне оказываете незаслуженную честь, — возразил г-н д'Анктиль. — Это вино господина де ла Геритода. Я располагаю его любовницей. И тем паче могу располагать его винным погребом.

— Совершенно справедливо, — подхватил добрый мой наставник. — Я вижу, сударь, вы выше людских предрассудков.

— Вы преувеличиваете мои достоинства, аббат, — отвечал г-н д'Анктиль. — Там, где человек незнатный остановится в нерешительности, я в силу своего происхождения чувствую себя непринужденно. Обыкновенный смертный волей-неволей должен взвешивать свои поступки. Он подчинен недвусмысленным требованиям порядочности, дворянин же взыскан честью драться во имя короля и ради собственного удовольствия. Это обстоятельство освобождает его от необходимости стеснять себя различными пустяками. Я служил под началом господина Виллара, я принимал участие в войне за наследство^[57] и рисковал ни за что ни про что сложить голову в битве при Парме. Надеюсь, я заслужил хотя бы право сечь своих слуг, надувать своих кредиторов и отбивать у своих друзей, если мне заблагорассудится, их жен или даже их любовниц.

— Благороднейшая мысль, — промолвил мой добрый наставник — вы, как я вижу, ревниво охраняете привилегии знати.

— Мне неведомы, — продолжал г-н д'Анктиль, — громкие фразы, которые действуют на воображение толпы и которые, на мой взгляд, уместны лишь тогда, когда нужно припугнуть робких и согнуть в бараний рог обездоленных.

— В добрый час! — произнес аббат.

— Я не верю в добродетель, — отозвался его собеседник.

— И вы правы, — подтвердил мой учитель. — По самому своему устройству животное, именуемое человеком, приходит к добродетели лишь путем искажения своей природы. Сошлюсь для примера на миленькую девицу, что ужинает за одним столом с нами: взгляните на ее прекрасную головку, красивую грудь, дивно округлый живот, не говоря уж обо всем прочем. Ну, есть ли у этой особы такой укромный уголок, куда могла бы она поместить хоть крупицу добродетели! Да нет там такого места, слишком все это упруго, сочно, крепко сбито и выпукло. Добродетель, подобно ворону, гнездится среди развалин. Она облюбовывает себе жилье среди морщин, на впалой груди. Я и сам, сударь, размышляя с отроческих лет над возвышенными истинами религии и философии, я и сам сумел ввести в себя чуточку добродетели лишь через бреши, пробитые во мне страданием и годами. Да и то получалось, что всякий раз я набирался не так добродетели, как гордыни. Потому и приобрел я привычку возносить нашему создателю такую мольбу: «Упаси меня, боже, от добродетели, коль скоро уводит она меня от святости». Ах, святость, вот к чему должно и можно нам стремиться! Вот приличествующая нам цель! Да приблизимся мы к ней в положенный час. А пока давайте выпьем.

— Признаюсь, я не верую в бога, — заметил г-н д'Анктиль.

— А вот за это, — промолвил аббат, — я вас пожурю. Человек должен верить в бога и во все истины, преподаваемые святой нашей церковью.

Тут г-н д'Анктиль громко воскликнул:

— Вы насмехаетесь над нами, аббат, и, видно, почитаете нас уж совершенными глупцами. Ну нет! Говорю вам, я не верую ни в бога, ни в дьявола, я никогда не посещаю церковных служб, за исключением службы о здравии короля. Проповеди, произносимые с амвона, — бабьи сказки, и годились в те времена, когда моя бабушка видела аббата Шуази^[58], который в женском платье раздавал освященные просфоры в Сен-Жак-дю-О-Па. В ту пору, возможно, религия и существовала. А теперь ее, слава те господи, нет.

— Во имя всех угодников и всех дьяволов, не говорите так, друг мой, — промолвила Катрина — Бог существует, это так же достоверно, как то, что этот паштет стоит на этом столе, и за доказательствами недалеко ходить, ибо когда в прошлом году я как-то впала в отчаяние и грусть, то по совету брата Ангела отправилась в церковь Капуцинов поставить свечку. И что же? На следующий же день я встретила на гулянье господина де ла Геритода, а он подарил мне этот особняк со всей обстановкой и непочатый

погреб вина, которое мы сейчас пьем, и дал вполне достаточно денег, чтобы жить прилично.

— Тьфу! — сказал г-н д'Анктиль, — эта дуреха сует бога во все свои грязные делишки, а это уж до того мерзко, что может оскорбить даже безбожника.

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — куда лучше вмешивать по примеру сей простодушной девицы господа бога в самые грязные дела, чем вовсе изгонять его из им же созданного мира, как это пытаетесь сделать вы. Не стану утверждать, что он с умыслом подослал толстосума-откупщика творению своему Катрине, но допустил же он их встречу. Неисповедимы пути господни, и в невинных речах мадемуазель Катрины, хотя в них есть привкус и примесь кощунства, содержится более истины, чем в том суесловии, каковое высокомерно черпает нечестивец в опустошенном сердце своем. Нет ничего ненавистнее того распутства мысли, которым печется нынешняя молодежь. От ваших слов меня даже оторопь берет. Опровергну ли я их ссылками на священные книги и писания отцов церкви? Повторю ли слова господа, вещавшего патриархам и пророкам:

Sic locutus Abraham et semini ejus saecula?^[59]

Обращу ли ваши взоры к преданиям церкви? Прибегну ли к помощи могущественного слова Ветхого и Нового Заветов? Смуцу ли вас чудесами, сотворенными Христом или словом его, еще более чудесным, нежели деяния. Нет! Не прибегну я к этому священному оружию, слишком боюсь осквернить его в малопочтенном поединке. В благоразумии своем церковь учит нас беречься назиданий, которые могут обернуться позорищем. Вот почему, сударь, я умолчу о тех истинах, каковыми был вскормлен под сенью святынь. Но, не нарушая целомудренной чистоты своей души и не выставляя на посмеяние священных тайн, я покажу вам бога, властвующего над сознанием людей; покажу его в философических доктринах язычников, даже в словах нечестивцев. Да, сударь, я докажу вам, что вы сами веруете в бога вопреки своей воле, хотя утверждаете, что его нет. Ибо вы, конечно, согласитесь со мной, что если в мире существует некий порядок, то порядок этот божественный, и проистекает он из источника и родника всякого порядка.

— С этим я согласен, — ответил г-н д'Анктиль, откинувшись на спинку кресла и поглаживая икру своей и впрямь стройной ноги.

— Так не ошибитесь же, — продолжал добрый мой наставник, —

когда вы утверждаете, что бога не существует, ведь вы приводите в связь мысли, подбираете доводы разума и обнаруживаете в самом себе начало всякой мысли и всякого разума, каковое начало и есть бог. И можно ли, даже пытаясь установить, что бога не существует, обойтись без рассуждений, пусть самых жалких, где не блеснула бы искорка гармонии, предустановленной во вселенной богом?

— Вы, аббат, софист хоть куда, — ответил г-н д'Анктиль. — В наши дни всякий знает, что мир есть лишь плод случайности, и с тех пор как ученые разглядели в зрительные трубки на луне крылатых лягушек, смешно даже толковать о провидении.

— Что ж, сударь, — возразил мой добрый учитель, — пусть на луне живут крылатые лягушки; эта болотная дичь вполне достойна обитать в мире, не искупленном кровью господа нашего Иисуса Христа. Согласен, мы знаем только ничтожную часть вселенной, и, вполне возможно, прав господин д'Астарак, хоть он и безумец, утверждающий, что наш мир — лишь капля грязи в бесконечности миров. Возможно, не так уже бредил астролог Коперник, когда поучал нас, что Земля математически не является центром вселенной. Я читал даже, что один итальянец по имени Галилей, принявший жалкую кончину, разделял мысли этого Коперника, и, как мы видим, ныне наш господин де Фонтенель^[60] соглашается с их доводами. Но все это суетные вымыслы, могущие смутить лишь слабые умы. Что мне за дело до того, велик или мал физический мир, имеет он ту форму или иную. Достаточно того, что он представим только через категории разума и познания, а в этом и проявляется бог.

Если размышления мудреца могут хоть чем-нибудь пригодиться вам, сударь, то я поведаю, как нежданно открылось мне во всей своей неоспоримой ясности доказательство существования бога, более даже убедительное, нежели то, что приводит святой Ансельм, и совершенно независимое от доказательств, вытекающих из веры в Откровение. Произошло это в Сеэзе четверть века тому назад. Я служил библиотекарем господина епископа Сеэзского, и в окна галереи, выходящей во двор, я ежеутренне мог видеть тамошнюю судомойку, которая начищала кастрюли его высокопреосвященства. Была она молода, ловка и крепка телом. Легкий пушок, затемнявший верхнюю ее губу, придавал девице гордый и завлекательный вид. Всклокоченные кудри, плоская грудь, слишком тонкие обнаженные руки сделали бы честь не только Диане, но и Адонису^[61], — словом, красоту ее справедливо было бы назвать отроческой. За это-то я ее и полюбил и любовался ее огрубевшими красными ладонями. Короче

говоря, вожделение, которое внушала мне эта девица, было столь же грубым и звериным, как и она сама. Вам ведомо, как властны подобные чувства. Стоя у окна, я дал ей это понять с помощью двух-трех жестов и слов. С помощью еще более скупой жестикуляции она оповестила меня, что разделяет мои чувства, и назначила мне свидание той же ночью на чердаке, где по милости его высокопреосвященства, чью посуду она мыла, ей предоставляли для ночлега охапку сена. С нетерпением ждал я ночи. Когда ж, наконец, тьма окутала землю, я взял лестницу и взобрался на чердак, где меня поджидала девица. Первым моим побуждением было обнять ее, вторым — восславить сцепление обстоятельств, приведших меня в ее объятия. Ибо судите сами, сударь: молодой священнослужитель, судомойка, лестница, охапка сена! Какая закономерность, какой стройный порядок! Какая совокупность предустановленной гармонии, какая взаимосвязь причин и следствий! Какое неоспоримое доказательство существования бога! Вот что поразило меня до чрезвычайности, и я возликовал, что могу пополнить еще одним доводом мирского характера доводы богословия, впрочем более чем достаточные.

— Ах, аббат, — воскликнула Катрина, — в вашей истории только одно плохо — это то, что девица была плоскогрудая. Женщина без груди — все равно что постель без подушки. А не знаете ли вы, господин д'Анктиль, чем нам сейчас заняться?

— Знаю, — ответил тот, — будем играть в ломбер, он требует лишь трех игроков.

— Как угодно, — согласилась Катрина. — Только будьте любезны, друг мой, прикажите принести трубки. Нет ничего приятнее, чем курить трубку, попивая вино.

Слуга принес колоду карт и трубки, которые мы тут же закурили. Вскоре вся горница наполнилась густым дымом, в клубах которого наш хозяин и г-н аббат Куаньяр степенно развлекались игрой в пикет.

Удача благоприятствовала моему учителю вплоть до той минуты, когда г-ну д'Анктилю вдруг показалось, будто его партнёр в третий раз подряд записал пятьдесят пять очков, в то время как у него было всего-навсего сорок; обозвав аббата греком, мерзостным плутом, трансильванским рыцарем, он запустил ему в голову бутылкой, которая, к счастью, разбилась об угол стола, залив все вокруг вином.

— Придется вам, сударь, — промолвил аббат, — взять на себя труд откупорить новую бутылку, так как нас мучит жажда.

— Охотно, — отвечал г-н д'Анктиль, — но знайте, аббат, что человек моего круга приписывает себе очки и подтасовывает карты только в том

случае, когда игра идет при королевском дворе, где попадают всякие люди, с которых и спросу нет. А при всех прочих обстоятельствах — это уж пакость. Неужели, аббат, вам так хочется прослыть проходимцем?

— Вот что поистине примечательно, — возразил мой добрый учитель, — при карточной игре или при игре в кости зазорным почитается как раз то, что рекомендовано в ратном деле, в политике и коммерции, где человек, исправляя превратности фортуны, приписывает это своей чести. Это не значит, что я позволяю себе в карточной игре отступить хоть на йоту от требований чести. Слава тебе господи, я весьма точен в счете, и вам, сударь, пригрезилось, что я приписал себе несуществующие очки. Но будь это даже так, я разрешу себе сослаться на пример присноблаженного епископа Женевского, который не считал грехом плутовать в карты. Однако ж не могу не заметить, что люди более склонны к щепетильности в карточных играх, нежели в делах первостепенной важности, и со всем тщанием соблюдают честность при игре в триктрак, где и соблюдать-то ее не составляет особого труда, но отнюдь не блюдут ее во время боя или при подписании мирных договоров, ибо там она показалась бы неуместна! Элиан, написавший по-гречески книгу о военной хитрости, показывает, в каком почете у великих полководцев разного рода уловки.

— Аббат, — возразил г-н д'Анктиль, — я не читал вашего Элиана, да и читать не намерен. Но я сам воевал, как и подобает каждому доброму дворянину. Я прослужил королю целых полтора года. Нет более благородного занятия на свете. Я сейчас вам расскажу, к чему оно в сущности сводится. С легкой душой поверяю вам эту тайну, ибо услышать ее здесь могут лишь вы, эти бутылки, вон тот господин, которого я убью на заре, да вон та девица, что стягивает с себя платье.

— Да, стягиваю, — отозвалась Катрина, — и останусь в одной рубашке, потому что здесь уж очень жарко.

— Ну так вот! — продолжал господин д'Анктиль. — Что бы ни твердили ваши газеты, воевать — значит воровать кур и свиней у крестьян. Солдаты во время походов только этим и занимаются.

— Вы совершенно правы, — подхватил добрый мой наставник, — в Галлии некогда сложили поговорку: нет солдату подруги слаже, чем кражи. Но молю вас, не убивайте Жака Турнеброша, моего воспитанника.

— Аббат, — возразил г-н д'Анктиль, — этого требует дворянская честь.

— Уф! — вздохнула Катрина, расправляя на груди кружевные оборки рубашечки, — так куда легче.

— Сударь, — продолжал мой добрый наставник. — Жак Турнеброш

весьма полезен мне в предпринятых мною трудах по переводу Зосимы Панополитанского. Я был бы бесконечно вам обязан, если б вы отложили ваше намерение драться с ним до той поры, когда сей великий труд придет благополучно к завершению.

— Плевать мне на вашего Зосиму, — отрезал г-н д'Анктиль. — Плевать мне на него, слышите, аббат. Плевать мне на него с высокого дерева.

И он запел:

Чтоб наловчился ездок молодой
И приучился к езде верховой,
Дай ему милку в награду!
Случай терять не надо.

Какой еще там Зосима?

— Зосима, сударь, — ответил аббат, — Зосима Панополитанский был ученый грек, процветавший в Александрии в третьем веке по рождестве Христовом и писавший трактаты о магии и об алхимии.

— А мне-то что до этого? — возразил г-н д'Анктиль. — И зачем вы его переводите?

Куйте железо, пока горячо,
И одалиску целуйте еще, —
Евнухи нам не преграда!
Случай терять не надо.

— Сударь, — промолвил мой добрый наставник, — признаюсь вам, что существенной пользы мой труд не принесет и не повлияет на ход мироздания. Но, комментируя и разбирая трактат, каковой вышеупомянутый грек посвятил своей сестре Теосебии...

Прервав речь доброго моего наставника, Катрина затянула пронзительным голосом:

Пусть я завистников всех обозлю,
Мужа пожаловать в графы велю —
Мужу-писцу я не рада.
Случай терять не надо.

— ... я вношу свою лепту, — продолжал аббат, — в сокровищницу знаний, собранную учеными мужами, и кладу свой камень в монумент подлинной истории, ибо история есть свод максим и мнений в большей мере, нежели летопись войн и мирных трактатов. Ведь человека облагораживает...

Катрина не унималась:

Будет весь город о нас говорить,
В песенках станут над нами трунить,
Плюнем на глупое стадо.
Случай терять не надо.

А добрый мой наставник тем временем продолжал:

— ... мысль, сударь. И с этой точки зрения нам не безразлично знать, как представлял себе этот египтянин природу металлов и свойства материи.

Аббат Жером Куаньяр опрокинул чару вина под звонкое пенье Катрины:

Как бы там ни был наш сан заслужен —
Шпагою или посредством ножен,
В титуле графском услада.
Случай терять не надо.

— Аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — вы не пьете и к тому же мелете чепуху. Мне самому довелось в Италии во время войны за наследство служить под началом бригадира, который переводил Полибия. Другого такого дурака свет не видывал. К чему переводить Зосиму?

— Если угодно знать всю правду, — ответил мой добрый наставник, — я черпаю в этом занятии некую чувственную усладу.

— В час добрый! — воскликнул г-н д'Анктиль, — но в чем тогда может помочь вам господин Турнеброш, который в эту минуту ласкает мою любовницу?

— Знанием греческого языка, — отвечал добрый мой учитель, — каковым он обязан мне.

Господин д'Анктиль повернулся в мою сторону.

— Как, сударь, — сказал он, — вы знаете греческий? Стало быть, вы не дворянин?

— Сударь, — ответил я, — мой батюшка знаменосец цеха парижских харчевников.

— Итак, мне не удастся вас убить, — вздохнул он, — приношу свои извинения. Но, аббат, вы ничего не пьете. Это обман. А я-то полагал, что вы не дурак выпить, и уж подумывал было назначить вас своим капелланом, когда обзаведусь собственным домом.

Господин аббат Куаньяр тем временем пил прямо из бутылки, а Катрина, склонив головку на мое плечо, шептала мне на ухо:

— Жак, я чувствую, что всю жизнь буду любить только вас.

Услышав такие слова, произнесенные прелестной особой, раздетой до рубашки, я впал в состояние небывалого смятения. Я окончательно захмелел, ибо Катрина заставляла меня пить из одного с ней стакана, что, впрочем, прошло незамеченным в общей суматохе, так как ужин изрядно разгорячил наши головы. Господин д'Анктиль, отбив о край стола горлышко бутылки, вновь обдал нас струей вина, и с этой минуты я уже перестал отдавать себе отчет в том, что говорилось и делалось вокруг. Однако ж я успел заметить, что коварная Катрина выплеснула стакан вина за шиворот своему любовнику, в ответ на что любезный кавалер вылил две, а может, и три бутылки вина на девицу, сидевшую в одной рубашке, и превратил ее таким способом в некую мифологическую фигуру из породы никогда не просыхающих нимф или наяд. Катрина заплакала от злости и стала корчиться в судорогах.

В эту самую минуту в глубокой тишине ночи мы услышали резкие удары молотка во входную дверь. Мы окаменели и лишились дара речи наподобие сотрапезников из волшебной сказки. А в дверь стучали все сильнее, все упорнее. Г-н д'Анктиль первым прервал молчание и, чертыхнувшись, громко спросил, кого это принесла нелегкая. Добрый мой учитель, которому самые, казалось бы, будничные обстоятельства часто подсказывали самые вдохновенные изречения, поднялся с места и произнес ележно и торжественно:

— Неважно, чья рука стучит столь грубо в двери, движимая низменной, а быть может, и нелепой причиной! Стоит ли дознаваться, кому она принадлежит? Пусть удары эти отдадутся во вратах наших душ, зачерствелых и растленных. И при каждом последующем ударе станем говорить себе: вот этот тщится исправить нас, напомнить о нашем спасении, коим пренебрегаем мы, погрязшие в утехах; вот тот учит презирать блага мира сего; а тот напоминает о вечности. Таким образом,

мы сумеем извлечь всю мыслимую пользу из события самого по себе ничтожного и вздорного.

— Ну, знаете, аббат, — отвечал г-н д'Анктель, — от таких ударов того и гляди вся дверь в щепы разлетится.

И впрямь молоток грохотал наподобие грома.

— Это разбойники! — вскричала промокшая насквозь Катрина. — Господи Иисусе! Они всех нас сейчас перережут; это нас покарал бог за то, что мы прогнали братца Ангела. Я вам сотни раз говорила, Анктель, тот, кто прогоняет капуцинов, навлекает на свой дом несчастье.

— Экая дура! — отозвался г-н д'Анктель. — Этот чертов монах забивает ей голову всякими бреднями. Воры вели бы себя учтивее или во всяком случае скромнее. Скорее уж это стража.

— Стража! Так это же еще хуже! — завизжала Катрина.

— Ба! — отозвался г-н д'Анктель, — мы их в тычки прогоним.

Добрый мой наставник предусмотрительно сунул одну бутылку вина в один карман, а в другой — вторую, для равновесия, как говорится в сказке. Теперь весь дом сверху донизу сотрясался от неистового стука. Г-н д'Анктель, в душе которого внезапное нападение пробудило воинскую доблесть, воскликнул:

— Иду на разведку.

Неверным шагом подбежал он к окну, возле которого не так давно наградил свою любовницу пощечиной, и вскоре воротился к нам в столовую, давась от смеха.

— Ха! Ха! Ха! — с хохотом вскричал он. — Знаете, кто стучит? Господин де ла Геритод в своем дурацком парике, а по обе его стороны стоят два великана-лакея с зажженными факелами.

— Не может быть, — возразила Катрина, — в этот час он спит со своей старухой.

— В таком случае, — произнес г-н д'Анктель, — это его призрак, причем до крайности похожий. К тому же привидение, надо полагать, взяло напрокат парик настоящего Геритода. Даже призраку не удалось бы смастерить такой нелепый парик.

— Скажите правду, вы не смеетесь надо мной? — спросила Катрина. — Это действительно господин де ла Геритод?

— Собственной персоной, Катрина, если только меня не обманывает зрение.

— Я пропала! — воскликнула бедная девица. — До чего несчастны мы, женщины! Ни на минуту нас не оставляют в покое! Что со мной станется? Быть может, вы, господа, попрячетесь по шкафам?

— Мы-то охотно, — отвечал г-н аббат Куаньяр, — но только как упрятать туда за компанию еще и пустые бутылки, добрая половина которых разбита или во всяком случае валяется без горлышек, а также осколки оплетенной бутылки, которую господин д'Анктиль швырнул мне в голову, эту скатерть, эти паштеты, эти тарелки, эти факелы и дамскую рубашку, которая так пропиталась вином, что позволяет любоваться красами мамзель Катрины не хуже прозрачно-розовой вуали?

— И правда, этот болван насквозь промочил мне рубашку, — отозвалась Катрина, — и я чувствую, что простыла. Но, может быть, достаточно спрятать в верхней горнице одного господина д'Анктиля? Аббата я выдам за своего дядю, а господина Жака — за брата.

— Нет уж, увольте, — воскликнул г-н д'Анктиль. — Пойду и приглашу господина де ла Геритода отужинать с нами.

Мы втроем — добрый мой учитель, Катрина и я — отговаривали его, мы молили его, висли у него на шее. Но тщетно. Схватив факел, он спустился с лестницы. Трепеща, последовали мы за ним. Г-н д'Анктиль распахнул дверь. У порога стоял г-н де ла Геритод совсем такой, каким его описал возлюбленный Катрины, — в парике, с двумя лакеями по бокам, державшими горящие факелы. Г-н д'Анктиль промолвил с церемонным поклоном:

— Окажите нам честь, сударь, своим посещением. Вас ждет общество весьма любезных и своеобразных особ: некоего Турнеброша, которому мамзель Катрина посылает из окон воздушные поцелуи, и некоего аббата, который верует в бога.

И он низко склонился перед вновь прибывшим.

Господин де ла Геритод — из породы сухощавых верзил, — как видно, был не охотник до милых шуток. Поэтому слова г-на д'Анктиля вызвали у него сильнейшее раздражение, а при виде доброго моего наставника с бутылкой в руке и двумя другими бутылками, торчащими из карманов, при виде Катрины в мокрой насквозь и прилипшей к телу рубашке он совсем вышел из себя.

— Молодой человек, — обратился он к г-ну д'Анктилю, и в словах его прозвучала холодная ярость, — я имею честь знать вашего батюшку, и не позже чем завтра мы с ним вместе выберем город, куда Король вас пошлет, чтобы на досуге вы могли обдумать свою позорную распущенность и столь же позорную дерзость. Этот достойный дворянин, которого я охотно ссужаю деньгами, не требуя их возврата, бесспорно пойдет мне навстречу. Наш обожаемый монарх, который находится в таких же обстоятельствах, как и ваш батюшка, тоже благоволит ко мне. Потому почитайте дело

решенным. Слава богу, мы и не такие дела обдeldывали, что же касается до этой девицы, которую, видно, нет надежды вернуть на стезю добродетели, то завтра же утром я шепну два слова начальнику полиции, а он, насколько мне известно, весьма не прочь отправить ее в Убежище. Говорить больше нам не о чем. Этот дом принадлежит мне, я за него заплатил, и я намерен сюда войти.

Вслед за тем, обернувшись к лакеям, он ткнул кончиком трости в сторону моего наставника, а также в мою и приказал:

— Выбросьте-ка вон этих двух пьяниц.

Обычно г-н Жером Куаньяр являл собою редкостный образец благодушия и любил повторять, что кротостью своей обязан житейским превратностям, ибо судьба подобна морской волне, которая, перекатывая взад и вперед гальку, в конце концов стачивает острые края. Он легко сносил обиды и как христианин и как философ, Особенно же укрепляло его в этом безмерное презрение к роду человеческому, причем и для себя он не делал исключения. Однако на сей раз он утратил всякую меру и забыл всякое благоразумие.

— Замолчи, гнусный мытарь! — завопил он, размахивая бутылкой, точно дубиной. — Если только эти негодяи осмелятся тронуть меня, я размозжу им череп, я сумею внушить им уважение к этой одежде, как-никак свидетельствующей о моем сане.

При свете факелов мой добрый учитель с блестящим от пота побагровевшим лицом и выпученными глазами, в распахнутой рясе, открывавшей его объемистое чрево, которое угрожающе выползло из панталон, всей своей особой свидетельствовал, что не так-то просто справиться с таким молодцом. Негодники-лакеи остановились в нерешительности.

— Хватайте, — закричал г-н де ла Геритод, — хватайте этот бурдюк! Не видите разве, что стоит бросить его в сточную канаву, и он преспокойно пролежит там до утра, пока метельщики не выкинут его на свалку. Я бы сам за него взялся, да не хочется рук марать.

Добрый мой учитель не мог стерпеть подобной обиды.

— Гнусный откупщик, — воскликнул он голосом, достойным вещать с церковного амвона, — подлый клевет, безжалостный лихоимец, и ты смеешь еще называть этот дом своим? Если ты хочешь, чтобы люди поверили тебе, чтобы издали узнавали они владение твое, начертай на дверях евангельское слово «Ацельдама», что означает «Цена крови». Что ж, тогда мы отступимся, с поклоном дадим хозяину войти в его жилище. Вор, разбойник, душегубец, пиши скорее вот этим углем, что я швырну тебе в

харю, пиши собственной грязной лапой свой титул, удостоверяющий права на владение: «Ценою крови вдовицы и сиротки, ценою крови праведного», «Ацельдама». А не напишешь, торчи себе здесь, и оставьте нас в покое, ваша лихоимствующая светлость.

Никогда в жизни г-н де ла Геритод не слыхивал подобных поношений, и справедливо решив, что перед ним безумец, он поднял тяжелую трость, не столько с целью нанести удар, сколько желая защитить себя от удара. Добрый мой наставник зашелся от гнева и запустил бутылку в голову откупщика, который рухнул на мостовую, успев испустить крик: «Караул!» И так как кругом него лужей растеклось вино, могло и впрямь показаться, что он убит. Оба его лакея набросились на убийцу, и тот из них, что был повыше и покрепче, чуть было не сгреб за ворот аббата Куаньяра, но аббат с такой силой ударил мошенника головой в живот, что он повалился на мостовую, прямо на откупщика. На свое горе он тут же вскочил с земли и, вооружившись горящим факелом, бросился к подъезду дома, туда, где находился его обидчик. Но доброго моего учителя уже и след простыл. В дверях рядом с Катриной стоял г-н д'Анктиль, который и получил по лбу удар, предназначавшийся аббату. Наш дворянин не стерпел такого оскорбления; вытащив шпагу, он погрузил ее в живот злосчастного негодяя, и тот, прежде чем испустить дух, успел убедиться на собственном опыте, что негоже связываться с аристократом. Однако мой учитель не пробежал и двадцати шагов, как другой лакей, огромный детина, с длинными, как у паука-сенокосца, ногами, пустился за ним вдогонку, громогласно сзывая стражу и крича: «Держи, держи его!»

Превосходя моего наставника в быстроте, лакей нагнал его на углу улицы св. Гильома, и мы увидели, как он уже протянул руку к воротнику беглеца. Но добрый мой учитель — не новичок в драках — круто свернул в сторону и, обойдя противника с фланга, дал ему подножку, отчего тот упал и раскрыл себе череп о тумбу. Произошло все это молниеносно, и хоть мы с г-ном д'Анктилем решили, что не пристало оставлять друга в минуту грозной опасности, все же не успели к нему подбежать.

— Аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — вот вам моя рука: вы храбрый человек.

— Боюсь, что я к тому же и человекоубийца, — отвечал добрый мой наставник. — Но я еще не настолько испорчен, чтобы кичиться делом рук своих. Хорошо, если я отделаюсь не слишком суровым осуждением. Такое насилие не в моих нравах; ваш покорный слуга, сударь, рожден для обучения юношества изящной словесности с кафедры колледжа, а не для драк по закоулкам с лакеями.

— О, это еще полгоря, — возразил г-н д'Анктиль. — Но боюсь, вы уложили также и генерального откупщика.

— Неужто верно? — удивился аббат.

— Точно так же, как верно то, что я малость пощекотал шпагой кишки его мерзавца-лакея.

— При данных обстоятельствах, — ответил аббат, — нам первым делом подобает вымолить прощение у господа бога, ибо только пред ним одним мы в ответе за пролитую кровь, а затем поспешим к ближайшему фонтану, где можно было бы умыться. У меня, кажется, из носу кровь идет.

— Вы правы, аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — ведь тот негодяй, что околевает сейчас в канаве со вспоротым брюхом, рассек мне лоб. Нет, какова наглость!

— Отпустите ему грехи его, дабы и вам были отпущены ваши, — промолвил аббат.

В конце улицы Бак, там, где она теряется среди полей, у стены Убежища, мы весьма кстати обнаружили маленького бронзового тритона, извергавшего струю воды в каменную чашу. Мы остановились, чтобы умыться и утолить жажду. Горло у нас совсем пересохло.

— Что мы натворили! — вздохнул мой учитель. — И как это я мог выйти из естественного для меня состояния. Да, правы утверждающие, что судить человека надо не по его поступкам, каковые являются следствием обстоятельств, а по тайным его помыслам и сокровенным побуждениям, следуя примеру отца нашего небесного.

— А Катрина, — спросил я, — что случилось с ней во время этого ужасного происшествия?

— Когда я оглянулся, — ответил г-н д'Анктиль, — она изо всех сил дула в рот своему откупщику, надеясь привести его в чувство. Но зря она старается, я знаю господина де ла Геритода. Это — кремень безжалостный. Он отправит ее в Убежище, а то и в Америку. Жаль! Славная была девчонка. Я-то ее не любил, но она по мне, что называется, сохла. Удивительное дело, — выходит, я теперь без любовницы.

— Не тревожьтесь, — успокоил его добрый мой учитель. — Вы найдете себе новую, которая ничем не будет отличаться от прежней, во всяком случае ничем существенным. Мне сдается, вы ищете в женщинах как раз то, что присуще каждой.

— Нет сомнения, — воскликнул г-н д'Анктиль, — что всем нам грозит опасность: меня упрячут в Бастилию, а вас, аббат, вздернут вместе с вашим воспитанником Турнеброшем, хотя он никого не убивал.

— Вы недалеки от истины, — подхватил мой добрый наставник. —

Пора подумать, как бы спасти свою шкуру. Возможно, даже придется покинуть Париж, где нас не преминут отыскать, и скрыться в Голландии. Но увь! Слишком мне ясен мой тамошний жребий: той самой деснице, что столь пространно комментировала трактат Зосимы Панополитанского об алхимических науках, суждено кропать пасквили на потребу оперных див.

— Послушайте, аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — у меня есть друг, и он согласится приютить нас на любой срок в своем поместье. Живет он в четырех лье от Лиона, в диком и мерзком краю, где ничего, кроме тополей, травы да лесов, не увидишь. Вот куда нужно нам держать путь. Переждем в его поместье грозу. Поохотимся. Но для этого нам требуется незамедлительно почтовая карета или еще лучше — берлина.

— В этом я могу вам легко помочь, — ответил мой добрый учитель. — В гостинице «Красный конь», что на площади Пастушек, вам предложат прекрасных лошадей и любые экипажи на выбор. Я познакомился с хозяином гостиницы еще в те времена, когда служил секретарем у госпожи Сент-Эрнст. Он охотно выручал знатных господ; боюсь, его нет уж в живых, но сын его, говорят, пошел в батюшку. Есть у вас деньги?

— При мне как раз имеется довольно крупная сумма, — отозвался г-н д'Анктиль. — И это обстоятельство меня немало радует; ведь нечего и думать о возвращении домой, где меня тут же сцапают и препроводят под стражей в Шатле. Мои слуги остались у Катрины, и один бог знает, что с ними станется, но мне на это плевать. Я их поколачивал, я ни гроша им не платил и все же не уверен в их преданности. Но в ком можно быть уверенным? Скорее идем на площадь Пастушек.

— Сударь, — заметил аббат, — я намерен сделать вам одно предложение в надежде, что оно придется вам по душе. Мы с Турнеброшем проживаем вблизи Саблонского креста в некоем алхимическом и обветшалом замке, где вы, никем не замеченный, можете провести полдня. Сейчас мы отведем вас туда и подождем, пока нам подадут карету. Кстати, замок расположен невдалеке от площади Пастушек.

Господин д'Анктиль не стал возражать против этого предложения, и, нагнадевшись на тритончика, который, старательно надувая толстые щеки, извергал струю воды, мы порешили идти сначала к Саблонскому кресту, а затем нанять в гостинице «Красный конь» берлину и отправиться в Лион.

— Должен признаться вам, милостивые государи, — сказал мой добрый наставник, — что из трех бутылок, которые я озаботился унести с собой, одна, к великому моему огорчению, разбилась о голову господина де ла Геритода, вторая треснула у меня в кармане во время бегства. Пожалеем же об их участи. Но третья вопреки ожиданию цела — вот она!

И, вытащив из кармана третью бутылку, аббат поставил ее на каменный борт фонтана.

— Вот удача, — воскликнул г-н д'Анктиль. — У вас вино, у меня в кармане — кости да карты. Мы можем сыграть партию-другую.

— И в самом деле, — подхватил мой добрый наставник, — это великая утеха. Карточная игра, сударь, та же книга приключений, именуемая романом, но она имеет перед всеми прочими книгами то неоспоримое преимущество, что создание ее идет одновременно с чтением, и создающему эту книгу не требуется ума, равно как читающему ее не требуется знания грамоты. Творение это поражает еще одним свойством: всякий раз при перетасовке страниц оно закономерно приобретает новый смысл. Нельзя надивиться мастерству, с каким сделана эта книга, ибо, основываясь на законах математики, она дает тысячи и тысячи прелюбопытных комбинаций и редкостных сочетаний, недаром же люди, вопреки истине, поверили, что она открывает секреты сердца, загадки судеб и тайны грядущего. Слова мои особенно применимы к цыганскому тароку, интереснейшей из игр, но могут быть распространены также и на пикет. Изобретение карт с уверенностью приписывают древним, и я считаю, что происхождением своим они обязаны халдеям, хотя, откровенно говоря, не нашел в книгах подтверждения этому смелому умозаключению. Но в теперешнем своем виде пикет восходит не далее как ко временам короля Карла Седьмого, если верить ученому труду, который, помнится, я прочел в Сеэзской библиотеке, и там еще говорилось, что кёровая дама изображает Агнесу Сорель^[62], а дама пик в образе Паллады — это Жанна Дюлис, именуемая также Жанной д'Арк, та самая, что своей доблестью поправила пошатнувшиеся дела монархии, потом англичане сварили ее в Руане в котле; котел этот показывают желающим за два лиара, и я сам его видел, будучи проездом в вышеназванном городе. Впрочем, кое-кто из историков утверждает, что наша девственница была сожжена заживо на великолепнейшем костре. У Николя Жиля^[63] и у Паскье^[64] можно прочесть, что ей являлись святая Екатерина и святая Маргарита. Но, уж конечно, не господь бог посылал их; ибо любой мало-мальски сведущий и благочестивый человек знает, что эти самые Маргарита с Екатериной — лишь порождение необузданной варварской фантазии византийских монахов, изгадивших от начала до конца все жития святых. Какое нелепое кощунство утверждать, будто господь бог направлял этой Жанне Дюлис святых великомучениц, каких никогда и не существовало. Однако древние летописцы не постеснялись утверждать нечто подобное. Недоставало еще,

чтобы господь посылал нашей девственнице также и златокудрую Изольду, Мелузину, Большеногую Бертю и прочих героинь рыцарских романов, чье бытие не менее достоверно, чем бытие девы Екатерины с девой Маргаритой! В минувшем веке господин де Валуа с полным основанием поднял голос против этих дикарских побасенок, которые столь же противоречат религии, сколь заблуждение противно истине. Было бы весьма желательно, чтобы какое-нибудь сведущее в исторических науках лицо священного звания отсеяло бы мнимых святых от подлинных, достойных почитания: я имею в виду Маргариту, Лукию или Люцию, Евстахия и даже святого Георгия, насчет которого у меня тоже имеются кое-какие сомнения.

Если мне посчастливится найти приют в порядочном аббатстве, располагающем богатой библиотекой, я посвящу этой задаче остаток жизни, увы, достаточно потрепанной грозными бурями и частыми кораблекрушениями. Чаю мирной пристани и жажду вкусить безгрешного покоя, подобающего человеку моих лет и моего сана.

Пока аббат Куаньяр держал эту примечательную речь, г-н д'Анктиль, не слушая его, тасовал карты, присев на край бассейна, и проклинал на чем свет стоит чертову темень, из-за которой нельзя сыграть в пикет.

— Вы совершенно правы, сударь, — сказал мой добрый наставник, — здесь не совсем светло, и это вызывает у меня немалую досаду, не столько из-за пикета, без чего я как-нибудь проживу, сколько потому, что мне пришла охота прочесть две-три странички из «Утешений» Бозция, томик сочинений которого я постоянно ношу в кармане, дабы иметь его под рукой в ту минуту, когда меня преследуют неудачи, что и произошло не далее как сегодня. Ибо, сударь, нет горше участи для человека моего сана, как стать человекоубийцей и очутиться под угрозой заключения в церковную тюрьму. Чувствую, что одна-единственная страница этой превосходной книги укрепила бы мое мужество, которое иссякает при мысли о духовном суде.

С последними словами аббат, неосторожно перевесившись через край бассейна, рухнул в водоем и попал в такое глубокое место, что погрузился в воду до пояса. Но это обстоятельство его не смутило, боюсь, даже не привлекло его внимания; извлекши из кармана своего Бозция, каковой и вправду там оказался, и нацепив на нос очки теперь уже с одним стеклом, и то треснувшим в трех местах, он начал листать книжицу, спеша отыскать страницу, наиболее отвечающую настоящему положению вещей. И бесспорно он обнаружил бы ее и почерпнул бы в ней новые силы, если бы поискам его не препятствовало плачевное состояние очков, слезы,

застилавшие взор, и слишком слабый свет, падавший с небес. Вскоре он и сам вынужден был признать, что не видит ни зги, и принялся честить месяц, который имел неосторожность выставить из-за тучки кончик своего острого серпа. Он резко обрушился на ночное светило с обвинениями и стал громить его в следующих словах:

— Непристойное светило, бесчинное и блудодейственное, — говорил он, — не зная устали, ты освещаешь людское беспутство, но жалеешь луча человеку, старающемуся отыскать благочестивое изречение!

— Ну что ж, аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — раз эта блудница-луна дает нам довольно света, чтобы найти дорогу, но не довольно, чтобы играть в пикет, отправимся же, не мешкая, в тот самый замок, о котором вы мне говорили и куда я должен проникнуть никем не замеченный.

Совет был уместен, и, допив прямо из горлышка вино, мы втроем направились к Саблонскому кресту. Я и г-н д'Анктиль шли впереди. Шествие замыкал мой добрый наставник, отяжелевший от воды, которую выпитали в себя его панталоны, и всю дорогу мы слышали его охи и стенания, а также мерный стук стекавших с его одежды капель.

* * *

Первые лучи солнца уже резали наши утомленные бессонницей глаза, когда мы добрались до зеленой калитки Саблонского парка. Нам незачем было братья за молоток. Не так давно г-н д'Астарак вручил нам ключи от своего жилища. Было решено, что добрый мой наставник вместе г-ном д'Анктилем тихохонько проберутся темной аллеей, а я чуть поотстану и буду следить, не появятся ли поблизости верный Критон или поварята, которые, чего доброго, могут заметить незваного гостя. Эта диспозиция, вполне благоразумная со всех точек зрения, доставила мне впоследствии немало неприятностей. Ибо, когда мои спутники уже поднимались по лестнице и благополучно достигли моей спальни, где решено было спрятать г-на д'Анктиля до прибытия почтовой кареты, я успел достичь только площадки второго этажа и наткнулся на самого г-на д'Астарака в пурпуровом халате из камки и с серебряным подсвечником в руке. По своему обыкновению, он дружески коснулся моего плеча.

— Ну что ж, дитя мое, — сказал он, — разве не счастливы вы, что порвали всякое общение с женщинами и тем самым избежали риска и многих опасностей, которые возникают при сомнительных связях? Отныне, имея дело со светлыми дщерями воздуха, вам нечего опасаться распрей, ссор, оканчивающихся дракой, тех оскорбительных и жестоких сцен, которые то и дело вспыхивают в обществе погибших созданий. В вашем одиночестве, скрашенном присутствием фей, вы вкусите сладостный покой.

Сначала я подумал, что г-н д'Астарак насмехается надо мной, но тут же по его виду понял, что у него и в мыслях этого не было.

— Как кстати я вас встретил, сын мой, — добавил он, — и буду весьма вам признателен, если вы заглянете на минуту в мою рабочую комнату.

Я последовал за г-ном д'Астараком. Достав ключ длиной в целый локоть, он отпер двери этой проклятой комнаты, откуда в тот раз вырывался адский пламень. И когда мы вошли в лабораторию, г-н д'Астарак попросил меня поддержать догорающий огонь. Я подбросил несколько поленьев в печь, где варилось какое-то вонючее снадобье. Пока хозяин возился с чашами и колбами, творя свою дьявольскую стряпню, я не подымался со скамеечки, на которую рухнул без сил, и веки мои невольно смежались. Однако г-н д'Астарак заставил меня открыть глаза и полюбоваться зеленым глиняным сосудом со стеклянной крышечкой, который он держал в руках.

— Сын мой, — начал он, — да будет вам ведомо, что этот перегонный

аппарат именуется алюдель. В нем содержится некая жидкость, которая заслуживает того, чтобы поглядеть на нее попристальнее, ибо открою вам, жидкость эта не что иное, как философическая ртуть. Не думайте, что она навсегда сохранит бурую окраску. Пройдет немного времени, и она станет белой и вот в этом-то состоянии сможет превращать неблагородные металлы в серебро. Потом, силой моего искусства и знаний, она приобретет багряный оттенок в одновременно способность обращать серебро в золото. Всего разумнее было бы вам запереться в стенах лаборатории и не покидать её до тех пор, пока шаг за шагом не совершатся все эти удивительные превращения, что займет не более двух-трех месяцев. Но боюсь, подобное затворничество покажется мучительным юноше ваших лет. Так удовольствуйтесь на сей раз наблюдением за прологом к действию, подкладывая в печь побольше дров, о чем я и хочу вас просить.

С этими словами он снова предался вдохновенным манипуляциям над колбами и чашами. А я тем временем размышлял о своей злосчастной судьбе и о непростительной опрометчивости, доведшей меня до столь плачевного состояния.

«Увы! — думал я, подкидывая в печь поленья, — в это самое время городская стража разыскивает доброго моего наставника и меня; кто знает, быть может нам придется сменить на узилище этот замок, где пусть я не заработал ни гроша, зато у меня был готовый стол и почетное положение. Никогда не осмелюсь я вновь предстать пред господином д'Астараком, который верит, будто я посвятил эту ночь тихим наслаждениям магией, что, кстати, было бы куда лучше. Увы, никогда более не увижу я племянницы Мозаида, мадемуазель Иахили, которая так упоительно умела по ночам будить меня. И, без сомнения, она перестанет думать обо мне. Полюбит, быть может, другого и другого будет ласкать так, как ласкала меня. Даже мысль о ее неверности для меня несносна. Но вижу, что при том повороте, какой приняли события, следует ждать худого».

— Сын мой, — обратился ко мне г-н д'Астарак, — вы не слишком-то щедро питаете наш атанор. Видно, вы еще недостаточно прониклись идеей превосходства огня, а ведь только он может довести ртуть до полной готовности и превратить ее в чудесный плод, каковой мне дано будет вскорости сорвать. А ну-ка, еще охажу! Огонь, сын мой, высшая из стихий; я вам об этом уже толковал и сейчас приведу еще один пример. Как-то морозным зимним днем я отправился навестить Мозаида в его флигельке; когда я вошел, старец сидел, поставив ноги на грелку, и я заметил, что легчайшие частицы огня, вырывавшиеся из жаровни, обладают такой мощностью, что, играючи, надувают и приподымают

балахон нашего мудреца; отсюда я умозаключил, что, если бы пламя пылало еще жарче, Мозаида прямым путем подняло бы в небеса, куда он и впрямь достоин вознестись, и что, буде удалось бы заключить в какой-нибудь корабль достаточное количество этих огненных частиц, мы с вами могли бы плавать по эфиру столь же легко, как плаваем по морям, и наносить визиты саламандрам в их воздушном жилище. Подумаю об этом как-нибудь на досуге. И я не отчаиваюсь построить огнедышащий воздушный корабль. Но вернемся к делу и подбросим-ка дров в печь.

Еще не скоро выпустил он меня из этой пламенеющей горницы, откуда я мечтал поскорее ускользнуть и повидаться с Иахилью, которой мне не терпелось рассказать о моих злоключениях. Наконец он направился к двери, и я решил, что получу свободу. Но я обманулся в своих надеждах и на этот раз.

— Нынче утром, — произнес он, — погода хоть и хмурится, зато достаточно мягка. Не угодно ли вам пройтись по парку, прежде чем засесть за Зосиму Панополитанского, труды над каковым принесут великую честь вам и вашему учителю, если только вы завершите их столь же успешно, как начали.

Печально вздохнув, я последовал за ним в парк, где он обратился ко мне со следующими словами:

— Я весьма рад, сын мой, что мы находимся здесь с глазу на глаз, и я имею случай, пока еще не поздно, убересть вас от великой беды, которая может неожиданно обрушиться на вас, более того, я упрекаю себя, что не постарался предварить вас об этом раньше, так как то, что я собираюсь доверить вам сейчас, крайне важно по возможным своим последствиям.

С этими словами г-н д'Астарак увлек меня в главную аллею, ведущую к болотистым берегам Сены, откуда были видны Рюэль и распятие, венчающее Мон-Валерьен. Он облюбовал эту аллею для своих прогулок. Да к тому же только по ней и можно было пройти из конца в конец, хотя и тут дорогу в двух-трех местах преграждали поваленные стволы.

— Надобно знать, — продолжал он, — какой опасности вы подвергнетесь, если вздумаете изменять саламандре. Не стану спрашивать о вашем общении с этим небесным созданием, с которым я имел счастье вас познакомить. Сколько я мог заметить, вам претят подобные разговоры. Пожалуй, это даже похвально, и хотя саламандры не так высоко ценят, как наши придворные дамы, умение любовников держать язык за зубами, верно и то, что истинная любовь по сути своей неизреченна, и, предавая гласности высокое чувство, мы тем самым унижаем его.

Но ваша саламандра (мне ничего бы не стоило узнать ее имя, будь мне свойственно нескромное любопытство), быть может, не сообщила вам о том, какое именно чувство преобладает у них над всеми прочими: я имею в виду ревность. Ревность присуща всем ей подобным. Так знайте же, сын мой, что нельзя безнаказанно изменять саламандрам. Они жестоко мстят вероломному. Божественный Парацельс приводит в связи с этим один случай, который, надеюсь, сумеет внушить вам спасительный страх. Вот почему я намерен ознакомить вас с его рассказом.

Жил-был в немецком городе Штауфене некий философ-алхимик, который подобно вам состоял с связи с саламандрой. Но, будучи человеком развращенным, он обманывал ее с дамой, правда недурной, но не подымавшейся над пределом, положенным женскому естеству. Однажды вечером, когда он ужинал в обществе своей новой любовницы и двух-трех друзей, пирующие вдруг заметили, как над их головами сверкнуло в воздухе совершеннейшее по форме бедро. Саламандра показала эту часть своего тела, дабы все видели, что она отнюдь не заслуживала обиды со стороны своего возлюбленного. После чего небесная дочь в негодовании наслала на изменника апоплексию. Чернь, рожденная быть жертвой заблуждений, сочла эту кончину естественной, но посвященные знали, чья рука нанесла удар. Таков пример и таков урок, который я счел полезным вам преподать.

Но польза была не так велика, как полагал г-н д'Астарак. Внимая его речам, я тревожился совсем по иным причинам. Без сомнения, мое лицо выдавало обуревавшее меня беспокойство, ибо великий кабалист, обратив ко мне свой взор, осведомился, уж не опасаясь ли я, что обязательство, даваемое под страхом столь суровой кары, будет обременительным для юноши моих лет.

— Могу вас успокоить на сей счет, — добавил он. — Ревнуют саламандры лишь тогда, когда соперницей их является женщина, да и, откровенно говоря, испытывают они не настоящую ревность, а скорее обиду, негодование и отвращение. Слишком возвышенна душа саламандр, слишком утончен их ум, чтобы они могли ревновать друг к другу и поддаваться чувству, порожденному варварским состоянием, из которого человечество еще только-только выходит. Напротив того, они от чистого сердца делят с подружками те радости, что вкушают в объятиях мудреца, и весьма охотно приводят к любовнику прекраснейших из своих сестер. Вы скоро сами убедитесь в том, сколь далеко они заходят в своей любезности, и не пройдет года, а быть может, и полугода, как в вашу спальню будут являться сразу пять-шесть светозарных дев, и все они наперегонки станут

развязывать перед вами свой сверкающий пояс. Смело, сын мой, отвечайте на их ласки. Ваша возлюбленная не огорчится. Да и как может она быть оскорблена, будучи мудрой? Но в свою очередь и вы не гневайтесь понапрасну, если ваша саламандра покинет вас и заглянет ненадолго к другому философу. Запомните, что спесивая ревность, которую вносят люди в отношении полов, не что иное, как дикарское чувство, основанное на смехотворнейшей иллюзии. И чувство это зиждется на представлении, будто женщина, отдавшись вам, становится вашей, а ведь это на самом деле игра слов и только.

Держа такие речи, г-н д'Астарак свернул на тропу мандрагор, откуда уже виднелась среди листвы кровля флигелька Мозаида, как вдруг грозный голос поразил наш слух и заставил забиться мое сердце. Хриплые звуки сменялись пронзительным взвизгом, и, подойдя поближе, мы убедились, что звуки эти меняют тональность и что каждая фраза кончается своего рода напевом, правда еле уловимым, но наводящим ужас.

Сделав еще несколько шагов, мы, напрягши слух, уловили, наконец, смысл этих диковинных слов. Голос вещал:

— Да поразит тебя проклятие, коим Елисей проклял чад^[65] дерзостных и веселящихся. Внемли анафеме, которой Варух^[66] предал жителей Мероса.

— Проклинаю тебя именем Архифариила, именуемого также Владыкой битв и держащего в деснице своей меч огненный. Предаю тебя гибели во имя Сардалифона, предстающего пред своим господином с приятными ему цветами и дарственными венцами, кои подносят ему сыны Израиля.

— Проклят будь, пес! Анафема тебе, боров! Взглянув в том направлении, откуда шел голос, мы увидели на пороге флигеля Мозаида: он стоял, воздев руки горе, и скрюченные, как когти, пальцы его с загнутыми ногтями казались кроваво-красными в лучах восходящего солнца. Голову его венчала гнусная тиара, засалившийся до блеска балахон распахнулся, обнажив тощие кривые ноги, едва прикрытые рваными подштанниками, и он показался мне неким нищенствующим магом, вечным и очень древним. Глаза его сверкали. Он вопил:

— Будь проклят во имя Сфер; будь проклят во имя Колес; будь проклят во имя таинственных чудищ, представших взору Иезекииля!^[67]

И, вытянув вперед длинные руки, вооруженные когтями, он повторил:

— Во имя Сфер, во имя Колес, во имя таинственных чудищ, низринься к тем, кого уже нет более.

Мы прошли еще несколько шагов, пробираясь меж деревьями, в надежде обнаружить того, кому предназначались гневные выкрики и угрожающе выставленные когти Мозаида, и каково же было мое изумление, когда я увидел г-на Жерома Куаньяра, зацепившегося поллой рясы за колючки кустарника. Весь его облик красноречиво свидетельствовал о беспутно проведенной ночи: порванный воротничок и такие же панталоны, забрызганные грязью чулки, распахнутая на груди рубаха — все это неприятно напоминало наши совместные злоключения, особенно же удручал меня вид непомерно распухшего носа, столь неуместного на этом благородном, вечно смеющемся лице.

Я бросился к моему наставнику и довольно удачно извлек его из терний, пожертвовав лишь малой частью его панталон. И Мозаид за неимением предмета для проклятий вернулся в свое жилище. Поскольку он был обут в ночные туфли без задников, я успел заметить, что плюсна у него приходится как бы посреди ступни и пятка выступает назад настолько же, насколько выступают вперед пальцы. В силу такого устройства походка его поражала своей неуклюжестью, хотя без этого недостатка могла бы показаться даже величественной.

— Жак Турнеброш, дитя мое, — проговорил со вздохом мой добрый учитель, — полагаю, что этот иудей не кто иной, как Вечный Жид собственной своей персоной, ибо только тот умел богохульствовать на всех языках мира. Он сулил мне скорую и насильственную смерть, нагромождая безо всякой меры образы, и обозвал меня свиньей на четырнадцать, если только я не сбился в счете, наречьях. Я решил было, что это сам антихрист, но не обнаружил в нем кое-каких признаков, по которым христианин распознает сего врага господня. Во всяком случае, это гнусный еврей, и никогда еще позорное изображение колеса не украшало одежду столь завзятого безбожника. Он заслуживает не только того колеса, которое некогда нашивали на еврейские плащи, но и того, к какому привязывают злодеев.

И добрый мой учитель, распалившись в свою очередь, погрозил кулаком скрывшемуся за дверью Мозаиду и обвинил его в том, что он распинает христианских детей и пожирает живьем младенцев.

Тут подоспел г-н д'Астарак и притронулся к груди аббата рубином, который сверкал на его указательном пальце.

— Видите, как полезно знать свойства драгоценных камней, — сказал наш великий кабалист. — Рубин утишает гнев, и вы убедитесь, как не замедлит вернуться к господину аббату Куаньяру его прирожденное добродушие.

Мой добрый учитель уже улыбался, не так под влиянием чудодейственных свойств рубина, как в силу своего философического умонастроения, возвышавшего этого удивительного человека над всеми людскими страстями. Ибо г-н Жером Куаньяр — я должен сказать об этом сейчас, когда повествование мое становится от страницы к странице все мрачнее и печальнее, — являл пример мудрости даже в тех обстоятельствах, когда труднее всего было ожидать этого.

Мы осведомились о причинах недавней ссоры. Но по уклончивым и туманным ответам аббата я понял, что он не расположен удовлетворить наше законное любопытство. Я сразу же заподозрил, что дело тут не обошлось без Иахили, на что указывал доносившийся до нас скрипучий голос Мозаида, сопровождаемый скрежетом запираемых замков, и громкие отголоски ссоры, разгоревшейся во флигельке между дядей и племянницей. Я вновь попытался получить от моего доброго учителя разъяснения на этот счет.

— Ненависть к христианам, — промолвил он, — глубоко укоренилась в сердцах иудеев, и Мозаид служит тому мерзостным доказательством. Кажется, я разобрал в его гнусном твякании те самые проклятия, какие в минувшем веке обрушила синагога на голову некоего голландского еврея, называемого Барух или Бенедикт, но более известного под именем Спинозы, за то, что он создал философскую систему, блистательно опровергнутую почти при самом ее зарождении лучшими богословами. Но этот старый Мардохей добавил от себя — насколько я могу понять — с десяток еще более ужасных проклятий, и, признаюсь, мне стало даже не по себе. Я уже подумывал, как бы скрыться от этого потока поношений, да на свою беду запутался в колючках, которые так сильно впились в различные части моей одежды и тела, что я испугался, как бы не лишиться и того и другого; быть бы мне и посейчас во власти терний, рвущих мою плоть, если б меня не спас мой ученик Жак Турнеброш.

— Колючки — это еще полбеда, — возразил г-н д'Астарак. — Я боюсь другого. Уж не наступили ли вы неосторожно на мандрагору, господин аббат.

— На мандрагору! — ответил аббат. — Вот уж что меня ничуть не заботит!

— И напрасно, — с живостью воскликнул г-н д'Астарак. — Достаточно наступить на мандрагору, чтобы оказаться вовлеченным в любовное преступление и бесславно погибнуть.

— Ах, сударь, — отозвался мой добрый учитель, — сколько вокруг гибельных бед, и лучше уж безвыходно сидеть среди хранящих мудрость

стен Астаракианы, царицы библиотек. Стоило мне покинуть ее на минуту, и тут же мне на голову обрушились чудища Иезекииля, не считая всего прочего.

— А как обстоит дело с Зосимой Панополитанским? — осведомился г-н д'Астарак.

— Двигается помаленьку, — ответил мой добрый учитель, — подвигается своим чередом. Только вот сейчас он чуть-чуть позамешкался.

— Запомните, господин аббат, — промолвил кабалист, — что изучение древних рукописей дает нам ключи к обладанию великими тайнами.

— Помню, сударь, и пекусь о них, — ответил аббат.

И г-н д'Астарак, удовольствовавшись этим заверением, поспешил в чащу на зов своих саламандр и покинул нас у статуи фавна, который играл на флейте, не смущаясь тем, что голова его валялась в траве.

Добрый мой учитель взял меня за руку и начал с видом человека, наконец-то получившего возможность говорить свободно:

— Жак Турнеброш, сын мой, не утаю от вас, что нынче утром под крышей замка произошла довольно удивительная встреча, пока вы по воле этого одержимого сидели в нижнем этаже. Ибо я слышал, как он попросил вас заглянуть в его кухню, которая куда менее благоуханна, чем христианская кухня вашего батюшки, мэтра Леонара. Увы! Когда увижу я вновь харчевню «Королевы Гусиные Лапы» и книжную лавку господина Блезо с вывеской «Под образом святой Екатерины», где я не раз вкушал блаженство, листая книги, только что полученные из Амстердама и Гааги?

— Увы! — воскликнул я, и слезы навернулись на мои глаза. — Когда и я увижу их? Когда увижу я улицу святого Иакова, где появился на свет, и добрых моих родителей, которым весть о наших злоключениях причинит жестокие страдания? Не соблаговолите ли вы, добрый мой учитель, поведать мне, какая удивительная встреча произошла, по вашим словам, нынче утром и что последовало затем.

Господин Жером Куаньяр охотно дал мне все желаемые объяснения и сделал это в следующих словах:

— Знай же, сын мой, что я без помех добрался до верхнего этажа с господином д'Анктилем, который, хоть он грубиян и невежда, все-таки пришелся мне по душе. Ум его лишен прекрасных знаний и глубокой пытливости. Но мне мил в нем живой блеск юности и пылкость крови, толкающая на забавные выдумки. Он знает свет так же, как знает женщин, ибо занят ими и не занят никакой философией. Только по великой наивности души мог он причислять себя к безбожникам. В его неверии нет зла. И ты сам убедишься, много ли останется от его безбожия, когда

остынет пыл страстей. В этой душе господь бог не имеет иных врагов, кроме лошадей, карт и женщин. В уме подлинного вольнодумца, например господина Бейля, истина встречает куда более грозных и лукавых противников. Но я вижу сын мой, что напрасно рисую тебе портрет или характер, когда ты ждешь от меня бесхитростного рассказа. — Удовлетворю же твое нетерпение. Достигнув вместе с господином д'Анктилем верхнего этажа, я ввел юного дворянина в твою спальню и предложил ему, согласно нашему уговору у фонтана с тритоном, располагать этой комнатой, как своей собственной, на что он охотно согласился; он разделся, но сапог не снял, и лег в твою постель, опустил полог, дабы докучливый дневной свет не мешал ему, и тут же уснул.

А я, сын мой, хоть и разбитый усталостью, удалясь к себе в спальню, не пожелал вкусить покоя, а стал перелистывать томик Боэция в надежде найти подходящие к моему состоянию строки. Но не нашел ни одной, полностью ему отвечающей. Что ж удивительного, наш великий Боэций не имел случая размышлять о подобной напасти — шутка ли размозжить череп генерального откупщика бутылкой, позаимствованной из его собственного погреба. Все же мне удалось почерпнуть из этого превосходного трактата ряд истин, каковые позволительно применить к данным обстоятельствам. После чего, нахлобучив на глаза ночной колпак и препоручив душу свою господу, я забылся спокойным сном. По прошествии некоторого времени, которое показалось мне недолгим, хотя я и не имел возможности его измерить, ибо, сын мой, только поступки наши суть единственное мерило времени, приостанавливающего, так сказать, свой бег для нас, спящих, я вдруг почувствовал, что кто-то потянул меня за руку и одновременно чей-то голос заорал у меня над ухом: «Эй, аббат, эй, аббат, да проснитесь же!» Я решил было, что это явился арестовать меня судейский чин с тем, чтобы препроводить в духовный суд, и подумывал уже, уместно ли будет раскроить ему череп подсвечником. Увы, сын мой, по несчастью, слишком правы утверждающие, что, единожды свернув со стези благолепия и справедливости, по которой твердой и осторожной поступью шествует мудрец, человек — хочет он того или нет — начинает отвечать на насилие насилием и на жестокость жестокостью, так что первая наша оплошность неумолимо порождает череду новых. Вот что должно не упускать из виду для уразумения жизни римских императоров, которую весьма дотошно описал господин Кревье^[68]. Эти государи при своем рождении на свет были не злее всех прочих людей. Гаю, прозванному Калигулой, нельзя отказать ни в природном уме, ни в здравости суждений, к тому же он любил своих друзей. Нерон обладал врожденной склонностью

к добродетели и по складу своего характера устремлялся к великим и возвышенным предметам. Первая же совершенная ими промашка привела их на путь злодейства, с которого они так и не сошли вплоть до своей жалкой кончины. Вот что явствует из книги господина Кревье. Я сам знавал этого ученого мужа в бытность его преподавателем изящной словесности в коллеже Бове, где и я преподавал бы поныне, если бы жизнь мою не подстерегали бесчисленные препятствия и если бы свойственная мне легкость нрава не заводила меня в различные ловушки, куда я неизменно попадал. Господин Кревье, сын мой, был человек строгих правил, он исповедовал суровую мораль, и я сам слышал из его уст, что женщина, единожды изменившая супружескому долгу, готова на любые преступления, вплоть до убийства и поджога. Поминаю же я эту аксиому, дабы дать тебе представление о высоком духе нашего священнослужителя. Но, как видно, я снова уклонился в сторону и спешу поэтому продолжить свой рассказ с того самого места, где остановился. Итак, я решил было, что на меня поднял руку судейский чин, и внутреннему взору моему уже представилось узилище архиепископа, как вдруг я узнал голос и физиономию господина д'Анктиля, «Аббат, — сказал он, — в спальне Турнеброша со мной произошло престранное происшествие. Пока я спал, в комнату вошла женщина, скользнула ко мне в постель и разбудила меня градом ласк, нежных прозвищ, сладострастным шепотом и жаркими поцелуями. Я раздвинул полог, желая увидеть ту, кого послала мне фортуна. И увидел перед собой брюнетку с пылающим взором, самую прекрасную смуглянку в мире. Но тут она испустила громкий крик и, осердившись, бросилась прочь, однако недостаточно быстро, чтоб я не смог догнать ее в коридоре и заключить в объятия, которые сжимал все сильнее. Незнакомка начала вырываться и расцарапала мне лицо; когда я дал ей нацарапаться вволю, — столько, сколько требует оскорбленная девичья честь, — мы перешли к словам. Она с удовольствием узнала, что я дворянин, и не из бедных. Вскоре я уже перестал быть в ее глазах отвратительным, и она начала относиться ко мне все благосклоннее, когда по коридору вдруг прошмыгнул поваренок, обративший ее своим появлением в бегство. Насколько я могу понять — добавил господин д'Анктиль, — эта восхитительная девица приходила не ко мне, а к кому-то другому, но ошиблась дверью и от удивления испугалась, однако мне удалось ее успокоить и, не будь этого чертова поваренка, я бы завоевал ее дружбу». Я поспешил согласиться с господином д'Анктилем. Мы оба стали ломать голову, к кому могла приходиться эта красотка, и порешили, что к нашему старому безумцу д'Астараку; как я уже имел случай тебе говорить,

Турнеброш, он принимает ее в комнате, смежной с твоей, а возможно, в тайне от тебя и в собственной твоей спальне. Какого ты на сей счет мнения?

— Более чем возможно, — ответил я.

— Тут даже сомневаться грешно, — подхватил мой добрый учитель. — Этот колдун просто потешается над нами, болтая о саламандрах. А на самом деле ласкает юную деву. Обманщик он, вот кто!

Я стал молить доброго моего учителя продолжать рассказ. Он охотно исполнил мою просьбу.

— Передаю тебе, сын мой, речи господина д'Анктиля в сокращенном виде. Будучи вульгарного и низменного образа мыслей, он склонен самые незначительные события описывать с излишним многословием. Мы же, напротив того, должны исчерпать их в скупых словах, стремиться к краткости и беречь для нравоучительных речей и назиданий всю силу многословия, которое в этих случаях должно обрушиваться на поучаемого как снежная лавина, сорвавшаяся с горы. Поэтому, сказав, что господин д'Анктиль уверял, будто обнаружил в незнакомке редкостную красоту, обаяние и незаурядную привлекательность, я достаточно ознакомлю тебя с содержанием его рассказа. В заключение он спросил, не знаю ли я, как зовут его красавицу и кто она такая. «Судя по тому портрету, какой вы набросали сейчас, — отвечал я, — речь идет, если не ошибаюсь, о племяннице раввина Мозаида, именуемой Иахилью, которую мне как-то ночью довелось обнять на лестнице с той только разницей, что произошло это между вторым и третьим этажом». — «Надеюсь, — возразил господин д'Анктиль, — разница не только в том, ибо я обнимал ее весьма крепко. Досадно также, что, по вашим словам, она еврейка. Хотя я и не верую в бога, но по какому-то внутреннему чувству меня сильнее влечет к христианкам. Однако кто может с уверенностью назвать своих родителей? А вдруг ее украли еще ребенком? Ведь евреи и цыгане крадут детей за милую душу. К тому же мы слишком редко вспоминаем, что святая дева Мария была еврейского рода. Еврейка эта девица или нет, я хочу ее и заполучу!» Так говорил наш юный безумец. Но позволь мне, сын мой, присесть на эту поросшую мхом скамью, ибо после треволнений минувшей ночи, баталий и бегства, ноги отказываются мне служить.

Он уселся и, вытащив из кармана пустую табакерку, печально уставился на нее.

Я сел возле него, не в силах побороть беспокойство и уныние. Рассказ аббата причинил мне боль. Я клял судьбу, пославшую моей бесценной возлюбленной вместо меня какого-то грубияна в тот самый миг, когда она

пришла в мою спальню, исполненная страстной неги, а я тем временем подкидывал дрова в печь алхимика. Мысль о непостоянстве Иахили, в котором трудно уже было сомневаться, раздирала мне душу. Я подумал про себя, что доброму моему учителю не следовало бы пускаться в откровенности с соперником его ученика. И в весьма почтительных выражениях я осмелился упрекнуть его в том, что он назвал имя прекрасной незнакомки.

— Сударь, — произнес я, — осторожно ли было с вашей стороны давать подобные сведения столь сластолюбивому и необузданному дворянину?

Но добрый мой учитель, казалось, даже не слышал меня.

— По несчастью, — продолжал он, — во время ночной потасовки моя табакерка раскрылась и табак, смешавшись в кармане с вином, теперь являет собой лишь отвратительное месиво. Я не осмеливаюсь просить Критона растереть мне табак, столь суров и бесчувствен на вид этот слуга, он же судия. Если бы я был только лишен возможности забить в ноздрю понюшку табаку! Но страдания мои усугубляются еще и тем, что после удара, полученного нынче ночью, у меня зудит нос, и ты сам видишь, как я мучаюсь, не будучи в силах удовлетворить потребность моего назойливого табаколюба. Однако я стойко перенесу эту маленькую напасть в надежде, что господин д'Анктиль позволит мне угоститься из его табакерки. Но продолжу свой рассказ об этом молодом дворянине; вот что сказал он без обиняков: «Я люблю эту девицу. Знайте, аббат, я увезу ее с собой в почтовой карете. И не уеду без нее, пусть мне придется просидеть здесь неделю, месяц, полгода или даже год». Я описал ему опасности, какими чревата малейшая задержка. Он ответил, что опасности его не тревожат уже по одному тому, что, страшные для нас, они не столь уж страшны ему. «Вам, аббат, — сказал он, — вам с Турнеброшем грозит виселица, а я рискую лишь одним — попасть в Бастилию, где наверняка найдется колода карт и общество девиц и откуда моя семья незамедлительно меня вызволит, так как отец постарается заинтересовать в моей судьбе какую-нибудь герцогиню или танцовщицу, а матушка, хоть она и стала с годами чересчур богомольна, сумеет напомнить о себе двум-трем принцам крови, к которым она в свое время благоволила, с тем чтобы они похлопотали за меня. Так что это дело решенное, аббат, я уеду с Иахилью или вовсе не уеду. А вы с Турнеброшем вольны приобрести себе место в почтовой карете».

Жестокосердный отлично знал, что у нас с тобою, сын мой, нет ни гроша. Я убеждал его изменить решение. Говорил я настойчиво, умильно и даже назидательно. Пустая трата времени! Зря расточал я свое

красноречие, которое, не сомневаюсь, принесло бы мне почет и деньги, если б я вещал с церковной кафедры. Увы, сын мой, видно, так уж предначертано, что ни одно мое деяние не приносит на земле сладостного плода, и, должно быть, про меня сказал Екклезиаст:

«Quid habet amplius homo de universo labore suo, quo laborat sub sole»?^[69]

Я не только не образумил нашего юного дворянина, но своими речами лишь укрепил его упорство, и, не скрою, сын мой, он дал мне понять, что полностью рассчитывает на меня в исполнении своих желаний; это он и послал меня спешно отыскать Иахиль с целью склонить ее к побегу, посулив ей штуку голландского полотна, посуду, драгоценности и приличное содержание.

— О, учитель! — вскричал я. — Этот господин д'Анктиль редкостный наглец. Что, по-вашему, ответит Иахиль, узнав об этих предложениях?

— Сын мой, она уже знает и, полагаю, примет их благосклонно, — промолвил аббат.

— В таком случае, — с живостью возразил я, — следует открыть глаза Мозаиду.

— У Мозаида, — ответил мой добрый наставник, — глаза открыты даже слишком широко. Ты сам только что слышал последние раскаты его гнева, доносившиеся из флигеля.

— Как, сударь? — воскликнул я растроганно. — Вы открыли глаза этому иудею на бесчестие, готовое, обрушиться на его семью! Как это прекрасно с вашей стороны! Дозвольте мне обнять вас. Значит, ярость Мозаида, которой мы были свидетелями, относилась к господину д'Анктилю, а не к вам?

— Сын мой, — ответил аббат с видом благородным и скромным, — прирожденная терпимость к людским слабостям, кроткая обходительность, неосмотрительная доброта слишком уступчивого сердца подчас толкают человека на необдуманные шаги, и на голову его обрушивается вся тяжесть суровых и суетных суждений света. Не скрою от тебя, Турнеброш: уступив настойчивым мольбам этого молодого дворянина, я с обычной своей предупредительностью обещал отправиться его послом к Иахили и пустить в ход все соблазны, дабы склонить ее к побегу.

— О горе! — воскликнул я. — И вы, сударь, сдержали это чреватое бедами обещание? Не могу выразить, как глубоко уязвил и задел меня ваш поступок.

— Турнеброш, — сурово возразил мой добрый наставник, — ты рассуждаешь, как фарисей. Некий столь же любезный, сколь и возвышенно мыслящий ученый сказал: «Обрати свой взор на себя самого и остерегись судить поступки ближнего. Напрасный труд — осуждение ближнего своего; того и гляди, впадешь в ошибку и согрешишь, меж тем как, изучая и судя себя самого, пожнешь обильную жатву». Ибо сказано также: «Не убоитесь людского суждения», а апостол Павел рек: «Пусть судит меня судилище человеков — что мне в том?» И если я привожу здесь прекраснейшие тексты нравоучительного свойства, то лишь с целью наставить тебя, Турнеброш, и внушить приличествующее тебе тишайшее смирение, а вовсе не затем, чтобы обелить себя, хотя велик и тягостен груз беззаконий моих. Трудно человеку не впасть во грех, и не подобает ему предаваться отчаянию при каждом шаге нашем по этой земле, где все причастно в одно и то же время и первородному греху и искуплению через пролитую за нас кровь сына божьего. Не хочу преуменьшать своей вины, признаюсь, что поручение, которое я взялся выполнить по просьбе господина д'Анктиля, восходит к грехопадению Евы и являет собой, так сказать, лишь одно из бесчисленных его последствий в отличие от чувства смирения и скорби, осенившего меня сейчас и почерпнутого в жажде и надежде вечного спасения. Постарайся представить себе род человеческий как бы на качелях, качающихся между проклятием и искуплением, и знай, что в эту минуту я нахожусь на благостном конце описываемой ими дуги, тогда как еще нынче утром я пребывал на противоположном ее конце. Итак, пробравшись тропинкой мандрагор как можно ближе к флигелю Мозаида, я спрятался за куст терновника и стал ждать, когда в окошке покажется Иахиль. В скором времени она и показалась, сын мой. Тогда я высунулся из кустов и сделал ей знак спуститься вниз. Решив, что бдительность ее престарелого стража усыплена, она, улучив минуту, прибежала ко мне за куст. Тут я шепотом поведал ей все наши ночные злоключения, о которых она еще не слыхала: я изложил намерения, которые возымел на ее счет наш пылкий дворянин, я указал, что в своих интересах, а также ради моего и твоего, Турнеброш, спасения она должна оставить родной кров и тем облегчить наше бегство. Я описал ей всю соблазнительность предложений господина д'Анктиля. «Если вы последуете за ним нынче вечером, — говорил я ей, — у вас будет приличный доход, должным образом обеспеченный, белье, более роскошное, чем у оперной дивы или пантемонской аббатисы, и прелестный серебряный сервиз». — «Он, видно, считает меня девкой, — возразила Иахиль, — и он наглец». — «Он в вас влюблен, — настаивал я. — Неужели

вы предпочли бы, чтоб он вас уважал?» — «Мне требуется, — отрезала она, — похлебка, да пожирнее. Говорил он вам о похлебке? Пойдите, господин аббат, и скажите ему... » — «Что сказать ему?» — «Что я честная девушка». — «И еще что?» — «Что он нахал». — «И это все? Иахиль, подумайте о нашем спасении». — «Скажите ему, что я соглашусь уехать только при том условии, если он выложит на стол заемное письмо, составленное по всей форме и подписанное в вечер отъезда». — «Подпишет, подпишет! Считайте, что уже подписал». — «Нет, аббат, ничего не выйдет, если он не пообещает мне, что я буду брать уроки у господина Куперена^[70]. Я мечтаю учиться музыке».

Тут нас, по несчастью, заметил старый Мозайд, и хотя не мог расслышать наших слов, угадал их смысл. Ибо он тут же обозвал меня совратителем и стал обвинять во всех смертных грехах. Иахиль укрылась в своей спальне, и мне одному пришлось выдержать ураган гнева этого богоубийцы, и вот тогда-то я очутился в том состоянии, из коего вы меня извлекли, сын мой. По правде говоря, дело было закончено, соглашение заключено, бегство обеспечено. Колесам и чудищам Иезекииля не устоять перед горшком похлебки. Боюсь только, как бы этот старый Мардохей не засадил свою племянницу под замок.

— И в самом деле, — отозвался я, не в силах скрыть своей радости, — я слышал, как яростно скрипели замки и звенели ключи в тот самый миг, когда извлекал вас из гущи терний. Но неужели правда, что Иахиль столь скоропалительно приняла эти не совсем пристойные предложения, которые вам не так-то легко было ей передать. Я просто в смятении. Скажите мне, мой добрый наставник, не говорила ли она обо мне, не произнесла ли моего имени с печальным вздохом или хотя бы без оного?

— Нет, сын мой, — ответил г-н аббат Куаньяр, — не произнесла, во всяком случае я ничего такого не заметил. Не слышал я также, чтобы она шепнула имя господина д'Астарака, своего любовника, хотя оно могло бы прийти ей на память прежде вашего. Но не удивляйтесь, что Иахиль забыла своего алхимика. Еще недостаточно обладать женщиной, дабы оставить в ее душе глубокий и неизгладимый след. Души людские почти непроницаемы друг для друга, и здесь-то таится жестокая тщета любви. Мудрец скажет себе: «Я ничто в том ничто, каковым является все сущее. Надеяться оставить по себе память в сердце женщины — не то же ли самое, что желать оставить отпечаток перстня на глади бегущих вод? Так поостережемся же укореняться в преходящем и прилепимся душой к тому, что нетленно».

— А все-таки, — ответил я, — Иахиль сидит под замком, и трудно

усомниться в бдительности ее стража.

— Турнеброш, — возразил мой добрый учитель, — не далее как сегодня вечером она встретится с нами в «Красном коне». Ночная темь благоприятствует побегам, умыканиям, поспешным шагам и тайным планам. Положимся на хитроумие этой девицы. А ты, ты озаботься, когда начнет смеркаться, попасть на площадь Пастушек. Помни, что господин д'Анктиль нетерпелив, с него станется уехать без тебя.

Пока аббат давал мне последние наставления, прозвонил колокол, сзывавший к завтраку.

— Нет ли у тебя иголки с ниткой, — спросил аббат, — мои одежды порвались во многих местах, и я хотел бы, прежде чем выйти к столу, привести их двумя-тремя стежками в прежний, благопристойный вид. Особенно меня беспокоят панталоны. Они пришли в состояние такого упадка, что если я не поспешу к ним незамедлительно на помощь, боюсь, придется распрощаться с ними навеки.

* * *

Итак, заняв за столом кабалиста свое обычное место, я не мог отделаться от гнетущей мысли, что сижу здесь в последний раз. Измена Иахили погрузила мою душу в беспросветный мрак. «Увы, — думал я, — не было у меня другого столь пламенного желания, как бежать вместе с ней. И не было никакой надежды, что желание это может исполниться. Однако оно исполняется, но каким жестоким путем». И я еще раз подивился мудрости моего возлюбленного наставника, который, когда я однажды с излишним пылом пожелал успеха какому-то делу, ответил мне библейским речением: «Et tribuit eis petitionem eorum».^[71] Горести и волнения лишили меня аппетита, и я едва притрагивался к пище. Зато мой добрый учитель сохранял неизменное обаяние ума.

Он вел, не умолкая, приятные речи, и всякий увидел бы в нем скорее одного из тех мудрецов, которые изображены в «Телемаке»^[72] беседующими в тиши Елисейских полей, нежели простого смертного, преследуемого за убийство и обреченного на жалкий удел скитальца. Г-н д'Астарак, полагая, что я провел ночь в харчевне, любезно расспрашивал меня о здоровье моих дражайших родителей и, одолеваемый вечными своими видениями, добавил под конец:

— Когда я называю владельца этой харчевни вашим батюшкой, я, само собой разумеется, говорю так, следуя законам света, а не закону природы. Ибо где доказательства, дитя мое, что вы не были зачаты сильфом? И я тем охотнее склонюсь к этому последнему выводу, чем быстрее ваши таланты, пока еще не окрепшие, приобретут силу и красоту.

— О, сударь, воздержитесь, будьте любезны, от таких предположений, — с улыбкой возразил ему аббат, — а то он, чего доброго, станет таить от всех свой ум, боясь повредить честному имени родительницы. Знай вы ее лучше, вы согласились бы со мной, что никогда она не имела ни с одним сильфом никаких дел; эта примерная христианка состояла в плотском общении лишь со своим собственным мужем; добродетель запечатлена в чертах ее лица в отличие от супруги другого харчевника, некоей госпожи Коньян, молва о которой в дни моей молодости разнеслась не только по Парижу, но и по провинции. Вы о ней ничего не слыхали, сударь? В любовниках у нее состоял некий господин Мариет, тот самый, что потом сделался секретарем господина д'Анжервилье. Толстяк Мариет после каждой встречи дарил своей милой на память какую-нибудь драгоценную

вещицу — то лотарингский крест или образок, то часы или цепочку для ключей. А там платок, веер, ларчик; ради ее прекрасных глаз он опустошал ювелирные и галантерейные ряды Сен-Жерменской ярмарки; так что в конце концов харчевник, видя, что его благоверная разукрашена на манер раки с мощами, заподозрил, что такое богатство заработано не совсем честным путем. Он начал следить за женой и в недолгом времени застал ее с любовником. А надо вам сказать, что супруг нашей харчевницы был гнусный ревнивец. Он расвирепел, но ничего не выиграл, хуже того, проиграл. Он так надоел влюбленным своими вечными жалобами, что они решили от него отделаться. У господина Мариета всюду была рука. И он добился приказа об аресте злосчастного Коньяна. А тем временем коварная харчевница сказала мужу:

— Сvezите меня в воскресенье за город пообедать. Я ожидаю от этой поездки немало удовольствия.

Просила она своего харчевника нежно и настойчиво. И он, польщенный, согласился исполнить ее желание. Когда наступило воскресенье, он уселся бок о бок с супругой в плохонькую коляску и велел везти их в Поршерон. Но едва только достигли они Руля, как с полдюжины стражников, выскочив на дорогу, схватили харчевника по приказу Мариета и привезли в Бисетр, откуда его отправили на Миссисипи, где он пребывает по сию пору. Об этом приключении сложили песенку, заканчивающуюся следующим припевом:

Муж, презри молву людскую, —
Что в ее змеином шипе?
Жить удобней в ус не дуя,
Чем любуясь Миссисипи.

Вот в этом-то четверостишии бесспорно и содержится вся соль морали, которую можно извлечь из случая с харчевником Коньяном. Что же до приключения как такового, то, будучи изложено Петронием или Апулеем, оно не уступило бы самым лучшим милетским басням. Нашим современникам далеко до древних на поприще эпоса и трагедии. Но если мы и уступаем грекам и римлянам в искусстве рассказа, то не ищите тут вины парижских красоток, они каждодневно дают своими хитроумными проделками и милыми шуточками богатую поживу для новеллиста. Вам, сударь, конечно, знаком сборник Боккаччо; я достаточно изучал его развлечения ради и берусь утверждать, что, живи этот флорентиец сейчас

во Франции, он почерпнул бы в незадаче Коньяна сюжет для самого своего забавного рассказа. Упоминая же я эту историю сейчас за столом лишь для того, чтобы по закону контраста еще ярче засияли добродетели супруги господина Леонара Менетрие, каковая в той же мере является гордостью цеха парижских харчевников, в какой госпожа Коньян служит ему позором. Осмелюсь утверждать, что госпожа Менетрие ни разу не отступила от мелких и будничных добродетелей, рекомендованных для выполнения в браке, который один лишь среди всех семи таинств не заслуживает уважения.

— Не буду спорить, — отозвался г-н д'Астарак, — но вышеупомянутая госпожа Менетрие стяжала бы себе еще большее уважение, вступи она в связь с каким-нибудь сильфом по примеру Семирамиды^[73], Олимпиады^[74] или матери прославленного папы Сильвестра Второго.

— Эх, сударь, вот вы все время толкуете нам о сильфах и саламандрах, — заметил аббат Куаньяр. — Скажите положе руку на сердце: сами-то вы их когда-нибудь видели?

— Как вас вижу, — ответил г-н д'Астарак, — и даже еще на более близком расстоянии, если говорить о саламандрах.

— Этого еще, сударь, недостаточно для того, чтобы поверить в их существование, которое противоречит учению святой церкви, — возразил мой добрый учитель. — Ведь человек может быть прельщен иллюзией. Наши глаза и прочие органы чувств лишь проводники заблуждений и носители лжи. Они не столько научат, сколько проведут. Они являют нам лишь скоротечные и изменчивые образы. Истину же они уловить не способны, она невидима, как невидим и основополагающий ее принцип.

— Ах, я и не знал, что вы философ, да еще такой тонкий, — заметил г-н д'Астарак.

— Что верно, то верно, — ответил мой добрый наставник. — В иные дни моя душа теряет присущую ей легкость и влечется к ложу и трапезе. Но нынешней ночью я разбил бутылку о голову некоего мытаря, и все чувства мои чрезмерно взбудоражены этим приключением, — вот почему я ощущаю в себе достаточно силы, дабы разогнать преследующие вас видения и рассеять вредоносный туман. Ибо в конечном счете, сударь, все эти сильфы лишь только пары, туманящие ваш мозг.

Мягким движением руки г-н д'Астарак остановил моего наставника и промолвил:

— Прошу прощения, господин аббат, а веруете ли вы в демонов?

— На этот вопрос отвечу вам без промедления, — сказал мой добрый учитель, — верую в демонов, в таких, какими изображают их нам

священные книги, и отрицаю, как обман и суеверие, веру в ворожбу, амулеты и заклинания. Блаженный Августин учит: когда Священное писание призывает человека бороться против демонов, оно подразумевает борьбу против наших страстей и наших необузданных вожделений; всяческого же презрения достойна та бесовщина, которой капуцины страшат простодушных женщин.

— Я вижу, — заметил г-н д'Астарак, — ваш образ мыслей свидетельствует о том, что вы достойный человек. Вы не меньше меня ненавидите все эти грубые поповские суеверия. Но ведь вы верите в демонов, в чем сами только что признались. Так помните же: нет иных демонов, кроме сильфов и саламандр. Однако робкие умы, послушные голосу невежества и страха, исказили их образ. В действительности духи эти прекрасны и исполнены добродетели. Не будучи, господин аббат, до конца уверен в чистоте ваших нравов, не решусь открыть вам пути, ведущие к саламандрам. Но отчего бы мне не ввести вас в круг сильфов, жителей воздушных пространств, которые охотно вступают в общение с людьми, выказывая при этом столько доброжелательства и симпатии, что их справедливо было бы величать духами споспешествующими. Они не только не приводят нас к гибели, как полагают богословы, для которых сильфы — те же дьяволы, но, напротив того, охраняют и берегут своих земных друзей от всех опасностей. Я мог бы привести сотни и сотни примеров, доказывающих, как неоценимо велика их помощь. Но, коль скоро во всем нужна мера, позволю себе сослаться на рассказ, услышанный мною из уст супруги маршала де Грансе. Живя во вдовстве уже много лет, эта пожилая дама мирно почивала как-то ночью, когда к ней в постель проник сильф и сказал: «Сударыня, прикажите своим людям порыться в носильном платье покойного вашего супруга. В кармане его панталон лежит письмо, которое при разглашении погубит моего и вашего доброго друга господина де Роша. Велите передать это письмо вам и тут же сожгите его».

Супруга маршала пообещала исполнить благой совет и спросила сильфа, как чувствует себя покойный маршал, однако тот, не ответив ни слова, исчез. Проснувшись поутру, госпожа де Грансе призвала служанок и приказала им проверить, не осталось ли в гардеробе усопшего маршала его носильных вещей. Служанки ей ответили, что не осталось ни одной и что лакеи всё скопом продали старьевщику. Но хозяйка велела продолжать розыски до тех пор, пока не будет обнаружена хоть одна пара панталон.

Перерыв все закоулки, служанки нашли пару ветхих панталон из черной тафты, со шнуровкой по старинной моде, и принесли их хозяйке.

Та, сунув руку в карман, вынула письмо, распечатала его и убедилась, что написанного там более чем достаточно, чтобы господин де Рош тут же угодил в королевскую тюрьму. Она поторопилась бросить письмо в огонь. Таким образом, дворянин был спасен благодаря двум своим друзьям: супруге маршала и сильфу.

Скажите на милость, господин аббат, в характере ли дьявола подобный поступок? Однако сейчас я приведу еще один случай, который бесспорно не оставит вас равнодушным и, уверен, тронет ваше сердце, сердце человека ученого. Вам, конечно, ведомо, что Дижонская академия собрала в своих стенах множество блестящих умов. Один из ее членов, имя которого вы безусловно слышали, живший в минувшем веке, в неусыпных трудах готовил к изданию сочинения Пиндара^[75]. Как-то безуспешно просидев всю ночь над пятью стихами, до смысла коих он не мог добраться, так как текст был изрядно искажен, он отчаялся и лег в постель, когда уже запели петухи. Во время сна сильф, благорасположенный к нашему ученому, перенес его в Стокгольм, ввел во дворец королевы Христины, проводил в библиотеку и, достав с полки рукопись Пиндара, раскрыл ее как раз на непонятном месте. В эти пять стихов были внесены два-три исправления, что делало их смысл совершенно понятным.

Не помня себя от радости, наш ученый проснулся, высек огонь и тут же записал карандашом стихи в том виде, в каком они запечатлелись в его памяти. Наутро, поразмыслив о ночном приключении, он решил выяснить обстоятельства дела. В ту пору господин Декарт гостил у шведской королевы и посвящал ее в свою философию. Наш пиндарист был с ним знаком; однако настоящая дружба связывала его с господином Шаню, послом шведского короля во Франции. Через его посредство и было переслано господину Декарту письмо с просьбой сообщить, находится ли в королевской библиотеке в Стокгольме рукопись Пиндара и есть ли в ней такой-то вариант. Господин Декарт, известный своей редкостной учтивостью, ответил дижонскому академику, что ее величество действительно владеет упомянутым манускриптом и что он, Декарт, сам прочел там стихи Пиндара в том варианте, какой содержится в письме.

В продолжение всего рассказа г-н д'Астарак усердно чистил яблоко, но тут взглянул на аббата Куаньяра, желая полнее насладиться успехом своей истории.

Мой добрый учитель улыбнулся.

— Ах, сударь, зря тешил я себя ложной надеждой, — промолвил он, — вы, как вижу, не склонны отказаться от своих химер. Готов признать, что описанный вами сильф обладает незаурядной сметливостью, и я сам был

бы не прочь заполучить столь любезного секретаря. Поистине неоценимы оказались бы его услуги при расшифровке двух-трех мест из Зосимы Панополитанского, смысл которых крайне темен. Не могли бы вы указать мне способ вызвать при случае какого-нибудь сильфа-книгочия, столь же смышленного, как дижонский его собрат?

Господин д'Астарак торжественно ответил:

— Охотно поверю вам свою тайну, господин аббат. Но предваряю вас: если вы неосторожно откроете ее профанам, ваша гибель неизбежна.

— Не беспокойтесь на сей счет, — ответил аббат. — Мне не терпится узнать столь великолепную тайну, хотя, если быть откровенным, я не жду от нее особого прока, ибо не верю в ваших сильфов. Будьте столь любезны, просветите меня.

— Вы настаиваете? — переспросил кабалист. — Так знайте же: если вам нужна помощь сильфа, произнесите одно только слово «Агла». И тут же сыны воздуха слетятся к вам; однако вы понимаете, сударь, что слово это должно быть произнесено не только устами, но и сердцем и что одна лишь вера может сообщить ему чудодейственную силу. Без веры оно лишь звук пустой. А так как я только что произнес это слово, не вложив в него ни души, ни желанья, то даже в моих устах оно сейчас почти не обладает силой, и разве только несколько детей света, услышав мой зов, промелькнули по комнате лучезарной и легчайшей тенью. Я сам не так увидел, как угадал их появление за этим занавесом, и, едва приняв зримые очертания, они тут же исчезли. Ни вы, ни ваш ученик не заподозрили даже их присутствия. Но произнеси я это магическое слово с истинной верой, вы оба увидели бы их во всем их несказанном блеске. Они прелестны собой, более того, прекрасны! Я открыл вам, господин аббат, великую и полезную тайну, прошу еще раз, не разглашайте же ее неосмотрительно. И помните, что случилось с аббатом Вилларом^[76], который, выдав тайну сильфов, был убит ими на Лионской дороге.

— На Лионской дороге, — пробормотал мой добрый учитель. — Воистину странное совпадение.

Господин д'Астарак внезапно исчез из комнаты.

— Пойду подымусь в последний раз в царственную библиотеку, — сказал аббат, — вкушу на прощание возвышенных наслаждений. Не забудьте же, Турнеброш, к закату вам следует быть на площади Пастушек.

Я пообещал не забыть об этом; а пока я возымел намерение удалиться в свою комнату и там в одиночестве написать письма г-ну д'Астараку и добрым моим родителям, дабы вымолить у них прощение за то, что, даже не сказав последнего прости, вынужден скрыться после некоего

приключения, которое — не столько моя вина, сколько моя беда.

Но еще на лестнице я услышал храп, доносившийся из моей комнаты, и, приоткрыв дверь, увидел г-на д'Анктиля спящим на собственной моей кровати, к изголовью которой была прислонена шпага, а по одеялу рассыпана колода карт. Меня так и подмывало проткнуть дворянина его же шпагой, но эта мысль лишь промелькнула в моем мозгу, и я оставил гостя поживать с миром, ибо, как ни велика была моя печаль, я не мог без смеха думать о том, что Иахиль сидит в своем флигельке под тремя запорами и не свидится с ним.

Собираясь написать письма, я вошел в спальню доброго моего наставника, вспугнув своим появлением пяток крыс, которые усердно грызли томик Боэция, лежавший на ночном столике. Я написал г-ну д'Астараку и матушке, а также составил трогательнейшее послание к Иахили. Перечитав его, я оросил исписанные листки слезами. «Быть может, — твердил я про себя, — изменница тоже уронит слезинку на эти строки». Затем, сморенный усталостью и грустью, я бросился на тюфяк, служивший ложем доброму моему наставнику, и сразу же впал в забытие, смущаемый видениями в равной мере сладострастными и мрачными. Из состояния дремоты меня вывел наш вечный молчальник Критон; он вошел в спальню и протянул мне на серебряном подносе пеструю бумажку, на которой чья-то неумелая рука нацарапала карандашом несколько слов. Некто поджидал меня у ворот по самонужнейшему делу. Под запиской стояла подпись: «Брат Ангел, недостойный капуцин». Я бросился к зеленой калитке и увидел у придорожной канавы братца Ангела, который сидел пригорюнившись. У него даже не хватило сил подняться мне навстречу, и он обратил ко мне взгляд своих больших собачьих глаз, исполненных теперь почти человеческой грусти и увлажненных слезами. От тяжелых вздохов ходуном ходила его борода, веером прикрывавшая грудь. Он заговорил, и звуки его голоса наполнили меня тревогой.

— Увы, господин Жак, настал для Вавилона предсказанный пророками час испытаний. По жалобе, принесенной господином де ла Геритодом начальнику полиции, судейские препроводили мамзель Катрину в Убежище, откуда ее с ближайшей партией отправят в Америку. Эту новость мне сообщила Жаннета-арфистка, которая видела, как Катрину ввезли на повозке в Убежище в ту самую минуту, когда сама Жаннета, наконец, выходила оттуда после того, как искусные врачи излечили ее от некоей болезни, если была на то воля божья. А Катрине, той не миновать высылки на острова.

Дойдя до этого места своего рассказа, брат Ангел разразился

неудержимыми рыданиями. Я попытался унять его слезы ласковыми словами и осведомился, нет ли у него для меня еще новостей.

— Увы, господин Жак, — ответил он, — я сообщил вам самое главное, а все прочее витает у меня в голове, простите за сравнение, как дух божий над водами. Там один лишь хаос и мрак. Все мои чувства пришли в замешательство от горя, обрушившегося на Катрину. Однако, видно, должен я был сообщить вам нечто важное, коли отважился приблизиться к сему проклятому жилищу, где обитаете вы в обществе демонов и диаволов; ужасаясь душой, прочитав молитву святого Франциска, я взялся за молоток и постучал, чтобы вручить вам через слугу записку. Не знаю, удалось ли вам ее разобрать, ведь я не силен в грамоте. Да и бумага мало подходила для письма, но к вящей славе нашего святого ордена мы умеем пренебрегать мирской суетой. Ах, Катрина в Убежище! Катрина в Америке! Самое жестокое сердце дрогнет! Жаннета и та проплакала себе все глаза, а ведь она всегда завидовала Катрине, которая затмевала ее красотой и молодостью в такой же мере, в какой святой Франциск затмевает своей святостью всех прочих угодников божьих. Ах, господин Жак! Катрина в Америке, вот до чего неисповедимы пути провидения. Увы! Коль скоро Катрину забрали в Убежище, значит истинна наша святая вера и прав царь Давид, сказавший, что все мы, человеки, подобны траве полевой. Даже эти камни, на которых я сижу, и те счастливее меня, хоть я христианин и даже лицо духовное. Катрина в Убежище!

Он снова залился слезами. Переждав, пока иссякнет поток его скорби, я спросил братца Ангела, не наказывали ли мои дражайшие родители передать мне чего-либо.

— Они-то как раз и послали меня к вам, господин Жак, с важным делом, — ответил он. — Должен сообщить вам, что по вине мэтра Леонара, вашего батюшки, который проводит каждый божий день в попойках и карточной игре, нет больше счастья в их доме. И сладостный аромат жареных гусей и пулярок не подымается ныне, как подымался, бывало, к вывеске «Королевы Гусиные Лапы», чье изображение невозбранно раскачивает ветер и поедает ржа. Где то блаженное время, когда харчевня вашего батюшки благоухала на всю улицу святого Иакова от «Малютки Бахуса» до «Трех девственниц»? С той поры, как туда ступила нога этого чародея, навлекшего беду на ваш дом, все там чахнет — и звери и люди. И свершается уже небесное отмщение там, где еще недавно привечали толстяка, аббата Куаньяра, меня же прогнали прочь. Корень зла тут в самом Куаньяре, в том, что он возгордился своей ученостью и изяществом своих манер. А ведь гордыня — она-то и есть источник всех бед. Ваша матушка,

эта святая женщина, совершила большую ошибку, господин Жак, не удовольствовавшись теми уроками, которые я вам христоролюбиво давал, что, без сомнения, приуготовило бы вас к подобающей деятельности — распорядиться кухней, действовать шпиговальной иглой и носить знамя парижских харчевников после христианской кончины, отпевания и погребения вашего батюшки, что уже не за горами, ибо жизнь человеческая преходяща, а он к тому же пьет, не зная меры.

Нетрудно догадаться, что, услышав эти слова, я впал в глубокое уныние. Я смешал свои слезы со слезами капуцина. Все же я спросил его, как поживает моя добрая матушка.

— Господь бог, который счел нужным ввергнуть в печаль Рахиль из Рамы, ниспослал вашей матушке, господин Жак, многие треволения ради ее же блага и с целью покарать мэтра Леонара за его грех, грех изгнания из своей харчевни меня, а в моем лице — самого Иисуса Христа. Теперь господь наш всевышний направляет стопы жаждущих приобрести жареную дичь и паштеты в другой конец улицы святого Иакова, туда, где вращает вертел дочь госпожи Коньян. Достойная ваша матушка с болью сердечной видит, что всевышний благословил дом сей в ущерб вашему, который пришел ныне в такой упадок, что уже замшели каменные ступени крыльца. В ниспосланных вашей матушке испытаниях ее в первую очередь поддерживает вера в святого Франциска, а затем мысль о вашем преуспевании в свете, где вы появляетесь со шпагой на боку, словно прирожденный дворянин.

Однако второе это утешение изрядно померкло, когда нынче утром за вами в харчевню явилась городская стража с целью отвести вас в Бисетр, где бы вам не миновать годик-другой извести мешать. Это Катрина выдала вас господину де ла Геритоду; но не следует порицать ее: будучи христианкой, она, как то и положено, не утаила истины. Она указала не только на вас, но и на господина аббата Куаньяра, как на сообщников господина д'Анктиля, и в точности описала убийства и резню, имевшие место в ту ужасную ночь. Увы! Искренность не сослужила ей службы! Катрину препроводили в Убежище! Страшно и думать о подобных вещах.

Дойдя до этого места рассказа, братец схватился руками за голову и снова залился слезами.

Спускалась ночь. Я боялся опоздать к месту свидания, назначенному мне аббатом. Оттащив братца Ангела подальше от придорожной канавы, куда он рухнул под бременем горя, я поставил его на ноги и стал молить продолжать свой рассказ, пока мы с ним вместе пойдем по Сен-Жерменской дороге к площади Пастушек. Он безропотно согласился и

печально поплелся рядом, говоря, что без моей помощи ему ни за что не распутать клубка помутившихся мыслей. Я вернул братца к тому месту его истории, когда за мной в харчевню явились стражники.

— Не обнаружив вас, — продолжал братец, — они хотели было увести вашего батюшку. Мэтр Леонар уверял, что ему ничего не известно о вашем местопребывании. Достойная ваша матушка твердила то же и клялась всеми святыми, что знать ничего не знает. Да простит ей бог, господин Жак, ибо клялась она ложно. Стражники начали сердиться. Ваш папаша сумел их успокоить, пригласив выпить с ним, после чего они расстались добрыми друзьями. Тем временем ваша матушка отправилась к «Трем девственницам», где я согласно правилам нашего святого ордена собирал милостыню. Боясь, что начальник полиции с часу на час может все обнаружить, она отрядила меня сюда, чтобы я уговорил вас бежать без промедления.

Услышав эти печальные вести, я невольно ускорил шаги, и мы пересекли мост Нельи. Добравшись до вершины крутого откоса, который ведет к площади Пастушек и откуда уже виднелись высокие вязы, росшие вокруг нее, брат Ангел вдруг произнес слабеющим голосом:

— Достойная ваша матушка особо наказывала мне предупредить вас о грозной опасности и вручила для передачи вам мешочек, который я и спрятал под рясу. Но я никак его не найду, — добавил братец, ощупывая себя со всех сторон. — Да и как могу я, судите сами, найти хоть что-нибудь, потеряв Катрину? Она была предана святому Франциску и щедро раздавала милостыню. А они обращаются с ней, как с уличной девкой, они обреют ей голову, и ужас берет при мысли, что Катрина будет похожа на манекен шляпницы и в таком-то - виде ее отправят в Америку, где она умрет от лихорадки или ее пожрут дикари-людоеды. Под его бесконечный рассказ, прерываемый вздохами, мы добрались, наконец, до площади Пастушек. Налево от нас над аллею молодых вязов возносила свою шиферную крышу и слуховые оконца гостиница «Красный конь», и сквозь листву виднелись распахнутые настежь ворота каретного сарая.

Я замедлил шаги, а брат Ангел без сил рухнул у подножья вяза.

— Брат Ангел, — сказал я, — вы говорили что-то о мешочке, который добрая моя матушка просила мне передать.

— Просила, и в самом деле просила, — отозвался братец Ангел, — и я так надежно схоронил этот мешочек, что ума не приложу, где он; но если я его и потерял, господин Жак, то лишь из-за чрезмерной заботы о его сохранности.

Я горячо уверял капуцина, что он никоим образом не мог потерять

мешочка и, если он его немедленно не отыщет, я сам помогу ему в поисках.

Слова мои и тон, которым они были произнесены, должно быть, проняли брата Ангела, ибо он с тяжким вздохом отвернул полу рясы и, достав маленький миткалевый мешочек, не без сожаления протянул его мне. В мешочке я обнаружил монету в шесть ливров и иконку черной Шартрской богородицы, которую я облобызал, оросив слезами умиления и раскаяния. Тем временем братец Ангел стал извлекать из своих многочисленных карманов пачки раскрашенных иконок и кипы листков с молитвами, украшенными аляповатыми заставками. Он выбрал и вручил мне две или три наиболее пригодные, по его мнению, при сложившихся обстоятельствах для меня, как странствующего и путешествующего.

— Они освященные, — пояснил братец Ангел, — и отвращают угрозу смерти или недуг при изустном чтении, равно как через прикосновение или наложение на тело. Дарю же вам их, господин Жак, из любви к господу нашему. Не забудьте и вы меня своею милостью. Помните, что прошу я подавание во имя присноблаженного Франциска. И он не оставит вас, если вы поддержите недостойнейшего его сына, каков как раз я и есмь.

Пока братец Ангел разглагольствовал таким образом, я заметил, как в бледном свете умирающего дня из дверей конюшни «Красного коня» четверка лошадей вынесла берлину, которая остановилась, оглушив нас щелканьем кнута и громким лошадиным ржанием, возле того самого вяза, где сидел капуцин. Затем я разглядел, что это вовсе не берлина, а огромная четырехместная карета с маленьким закрытым отделением позади козел. Минуту, а то и две я молча смотрел на экипаж, когда вдруг увидел, что по откосу подымается г-н д'Анктиль с Иахилью в кокетливом чепчике, неся под полой свертки, а вслед за ними шагает аббат Куаньяр, нагруженный связкой книг, завернутых в рукопись старой диссертации. При их появлении кучера спустили обе подножки, и моя прелестная возлюбленная, подобрав стоявшие колом юбки, с помощью д'Анктиля юркнула в переднее отделение.

При виде этого зрелища я устремился вперед и закричал:

— Остановитесь, Иахиль! Остановитесь, сударь! Но в ответ на мой вопль коварный соблазнитель только еще сильнее подтолкнул изменницу, чьи прелестные округлости тут же и исчезли в полумраке кареты. Потом, поставив сапог на подножку экипажа и готовясь последовать за своей милой, он с удивлением оглядел меня с ног до головы:

— Ах, это вы, господин Турнеброш! Вы, видно, решили отбивать у меня всех любовниц подряд! Сначала Катрину, теперь Иахиль! Должно быть, просто об заклад с кем-нибудь побились!

Но я не слышал его слов, я продолжал взывать к Иахили, а братец Ангел тем временем, восстав из-под вяза, вырос перед дверцей кареты и стал предлагать г-ну д'Анктилю образок св. Роха, молитву, помогающую при ковке лошадей, молитву против горячки и жалобно клянчил милостыню.

Так бы я и простоял всю ночь, призывая Иахиль, если бы мой добрый учитель не увлек меня за собой и не втолкнул в карету, куда вошел следом сам.

— Пусть они едут в маленьком отделении, — сказал он, — а мы зайдем вдвоем всю карету. Я тебя долго искал, Турнеброш, и нигде не обнаружил; не скрою, мы уже собирались уехать, но тут я заметил вас под вязом. Мы не могли больше мешкать, ибо господин де ля Геритод разыскивает нас повсюду. А у него длинные руки — недаром он ссужает деньгами самого короля.

Карета уже катила вдоль дороги, и братец Ангел, уцепившись за ее дверцу, бежал вровень с лошадьми, протягивая за подающим руку.

Я без сил откинулся на подушки.

— Увы, сударь, — вскричал я, — вы же сами говорили, что Иахиль сидит взаперти под тремя засовами.

— Сын мой, — ответил добрый мой наставник, — не следует чрезмерно доверяться крепости замков, ибо женщине нипочем ни ревнивцы, ни засовы ревнивцев. Закройте дверь, она выскользнет в окно. Ты, Турнеброш, дитя мое, и представить себе не можешь всей меры женского лукавства. Древние писатели приводят десятки самых удивительных примеров, и ты немало обнаружишь их в «Метаморфозах» Апулея, где они рассыпаны щедро, как соль. Но лучше всего постигаешь силу женского коварства при чтении арабской сказки, с которой господин Галан^[77] недавно ознакомил Европу и которую я тебе сейчас расскажу.

Шахриар, султан Татарии, и брат его, Шахзенан, прогуливались как-то по берегу моря и вдруг увидели, что над волнами поднялся черный столб, двигавшийся в сторону суши. Братья узнали некоего Духа в обличье великана, свирепейшего среди всех прочих духов; он нес на голове стеклянный сундук, запертый на четыре железных замка. При виде великана братьев охватил страх, и они, не мешкая, вскарабкались на дерево, росшее поблизости, и притаились на развилине сука. Дух тем временем вышел на берег со своим сундуком, а затем скинул поклажу под то самое дерево, где нашли себе убежище оба принца. После чего он растянулся на земле и тут же захрапел. Ноги его упирались в море, от мощного дыхания ходуном ходили земля и небо. Пока он почивал, нагоняя

страх на все живое, крышка сундука поднялась, и оттуда вышла госпожа величественной осанки и несказанной красоты. Она подняла голову... Тут я прервал рассказ, который, признаюсь, почти не слушал.

— Ах, сударь, — воскликнул я, — о чем, по-вашему, беседуют сейчас Иахиль и господин д'Анктиль, запершись в своем отделении?

— Не знаю, — отвечал мой добрый наставник, — это уж их дело, а не наше. Но слушай дальше арабскую сказку, она полна глубокого смысла. Ты, Турнеброш, необдуманно прервал меня на том месте, когда эта госпожа, подняв голову, заметила притаившихся на дереве принцев. Она сделала им знак спуститься и, увидев, что они колеблются между желанием ответить на призыв столь очаровательной особы и боязнью перед великаном, сказала им негромко, но выразительно: «Спускайтесь немедленно, или я разбужу Духа!» По повелительному тону красавицы и по ее решительному виду братья поняли, что это не пустая угроза и что не только приятнее, но и благоразумнее спуститься на землю, что они и сделали со всевозможными предосторожностями, боясь разбудить спящего Духа. Когда они очутились на земле, госпожа взяла их за руки и, отойдя чуть подальше под купу деревьев, дала им понять, и весьма недвусмысленно, что она не прочь тут же отдаться и тому и другому. Братья с превеликой охотой пошли навстречу ее капризу, и так как оба были истые храбрецы, страх не испортил им удовольствия. Получив от них желаемое, госпожа, заметив, что на указательном пальце каждого из братьев красуется перстень, попросила подарить ей оба перстня. Потом подошла к сундуку, служившему ей жилищем, извлекла оттуда длинную связку перстней и показала ее нашим принцам.

— Знаете ли вы, что означают эти четки? — спросила она. — Тут нанизаны перстни всех мужчин, к которым я была столь же благосклонна, как и к вам. Здесь девяносто восемь перстней, да, да, девяносто восемь, и я храню их в память бывших владельцев. И у вас я попросила перстни по той же причине и еще потому, что мне хотелось довести их число до сотни. Итак, — продолжала она, — с того самого дня, когда этот противный Дух запер меня в сундук, у меня вопреки его бдительной охране было сто любовников. Пусть запирает меня в этот стеклянный ящик, пусть держит меня на дне морском, я все равно буду ему изменять столько, сколько мне заблагорассудится.

— Эта забавная притча, — добавил добрый мой наставник, — учит нас, что женщины на Востоке, где их держат взаперти, столь же коварны, как и наши с вами соотечественницы, которые пользуются свободой. Если уж женщина вобьет себе что-нибудь в голову, нет такого мужа, любовника,

отца, дяди, опекуна, который мог бы ей помешать. Посему, сын мой, не удивляйся легкости, с какой Иахиль провела своего старого Мардохея; ведь только изощренная в пороках красавица может сочетать в себе ловкость наших распутниц с чисто восточным вероломством. Подозреваю, сын мой, что она так же охоча до наслаждений, как падка на золото и серебро, и потому она достойная дочь племени Олиба и Аолиба.

Красота ее дразнит и манит, и даже я сам не остался нечувствительным к прелестям Иахили, хотя возраст, возвышенные размышления и горести жизни, исполненной тревог, изрядно притупили во мне охоту к плотским наслаждениям. Видя, как огорчают тебя успешные домогательства господина д'Анктиля, я разумею, сын мой, что ты куда чувствительнее меня уязвлен жалом страсти и раздираем ревностью. Вот потому ты и порицаешь ее, не спорю, не совсем пристойный и противоречащий обычной морали поступок, но безразличный сам по себе и во всяком случае ни на йоту не утяжеляющий бремя всемирного зла, в душе ты обвиняешь меня как соучастника и полагаешь, что стоишь на страже нравов, тогда как на самом деле следуешь только голосу собственных страстей. Вот так-то, сын мой, человек обеляет в собственных глазах самые низменные свои побуждения. Таково и только таково происхождение человеческой морали. Но признай же, что оставлять такую красоту во власти старого лунатика было бы просто обидно. Согласись, что господин д'Анктиль молод и хорош собою и, стало быть, больше подходит к этой любезной особе, а главное, смирись с тем, чему помешать не в силах. Трудно принять подобную мудрость и, конечно, еще труднее было бы примириться с ней, если бы у тебя похитили любовницу. Поверь мне, железные зубы рвали бы тогда твою утробу и в воображении вставляли бы ненавистные и, увы, слишком ясные картины. Пусть это соображение умягчит твою теперешнюю боль, сын мой. К тому же жизнь вообще полна трудов и мук. В этом-то и черпаем мы надежду на вечное блаженство.

Так говорил мой добрый учитель, а вязы, росшие по обе стороны королевской дороги, рядами убежали назад за окном кареты. Я поостерегся сказать аббату, что он лишь усугубляет мою печаль, желая ее утишить, и что, неведомо для себя, вкладывает персты в мою рану.

Наш первый привал состоялся в Жювизи, куда мы прибыли под утро в дождь. Войдя в залу почтовой станции, я заметил Иахиль, сидящую у камина, где жарилось на вертелах с полдюжины цыплят. Чуть приоткрыв шелковые чулочки, она грела ноги, увидев которые я впал в неопишуемое смятение, потому что тут же на мысль мне пришла вся ножка с ее родинками, пушком и прочими выразительными подробностями. Г-н

д'Анктиль стоял, облокотившись о спинку ее стула и подперев подбородок ладонью. Он называл ее своей душенькой, своей жизнью, спрашивал, не голодна ли она, и так как Иахиль сказала, что голодна, вышел из залы, чтобы отдать распоряжения. Оставшись наедине с неверной, я взглянул ей прямо в глаза, где играли блики пламени.

— Ах, Иахиль, — вскричал я, — я так несчастлив, вы изменили мне, вы не любите меня больше.

— Кто вам сказал, что я вас больше не люблю?— ответила она, обратив ко мне свой бархатный и пламенный взгляд.

— Увы, мадемуазель, это явствует из вашего поведения.

— Оставьте, Жак, неужели вы ревнуете меня к приданому голландского полотна и серебряному сервизу, которые обещал мне подарить этот дворянин? Одного прошу у вас — будьте скромнее до того времени, пока он не сдержит своего слова, и вы увидите, что я не переменилась к вам после бегства из Саблонского замка.

— Увы, Иахиль, пока я стану ждать, мой соперник будет срывать цветы удовольствия.

— Чувствую, — ответила она, — что этих цветов окажется не так уж много и ничто не изгладит вас из моей памяти. Не мучьтесь же по пустякам, им придает значение лишь сила вашей фантазии.

— О, — воскликнул я, — фантазия моя разыгралась сверх меры, и боюсь, я не переживу вашего вероломства.

Подняв на меня дружелюбно-насмешливый взгляд, Иахиль сказала:

— Поверьте мне, друг мой, от этого мы с вами не умрем. Поймите, Жак, нужны же мне белье и посуда. Будьте благоразумны, ничем не выдавайте обуревающих вас чувств, и обещаю вам, со временем я сумею вознаградить вашу скромность.

Эта надежда умерила мою жгучую печаль. Хозяйка гостиницы постелила на стол скатерть, благоухающую лавандой, поставила оловянные тарелки, чарки и кувшины. Я изрядно проголодался, и когда г-н д'Анктиль, вошедший в залу вместе с аббатом, пригласил нас к столу, я охотно занял место между Иахилью и добрым моим наставником. Боясь погони, мы наскоро уничтожили три омлета и двух цыплят. Перед лицом грозившей нам опасности решено было без передышки ехать вплоть до Санса, где мы располагали остановиться на ночлег.

Ужасным видением представала передо мной эта ночь, когда Иахили суждено было совершить свою измену. И это вполне справедливое предчувствие до того томило меня, что я рассеянно внимал речам доброго моего наставника, которому ничтожнейшие сами по себе дорожные

приключения внушали самые возвышенные мысли.

Страхам моим суждено было оправдаться. По прибытии в Санс мы едва успели отужинать в жалкой харчевне под вывеской «Воин в доспехах», как г-н д'Анктиль увел Иахиль в свою комнату, расположенную рядом с моей. Я провел бессонную ночь. Поднявшись на заре, я поспешил покинуть опостылевшую мне горницу, вышел во двор и, уныло присев у ворот каретного сарая, стал глядеть, как суетятся кучера, попивая белое винцо и заигрывая со служанками. Так провел я два, а может, и три часа в горестных раздумьях о своих невзгодах. Когда нашу карету уже заложили, в воротах появилась Иахиль; она зябко куталась в черную накидку. Не в силах видеть изменницы, я отвратил от нее взор. Но она подошла ко мне, опустилась возле меня на тумбу и нежно попросила меня не грустить, ибо, сказала она, то, что представляется мне столь ужасным, на деле — сущие пустяки, что надобно быть благоразумным, что такой умный человек, как я, не может требовать, чтобы женщина принадлежала только ему одному, иначе пришлось бы довольствоваться дурехой-женой, да к тому же уродливой; да и такую еще не так-то просто найти.

— Пора вас покинуть, — добавила она. — Я слышу шаги господина д'Анктиля, он спускается с лестницы.

И она слила свои уста с моими в долгом поцелуе и длила это лобзание, которому страх придавал неистовое упоение, так как уж совсем рядом под сапогами ее любовника скрипели деревянные ступени; целуя меня, Иахиль дерзко ставила на карту свое голландское полотно и свою серебряную посуду для жирной похлебки.

Кучер спустил было подножку переднего отделения, но г-н д'Анктиль обратился к Иахили с вопросом, не будет ли ей приятнее продолжать путешествие вместе с нами в карете, и я расценил это как первый знак их только что установившейся близости и решил также, что, удовлетворив свои желания, он уже не так жаждет путешествовать с глазу на глаз со своей милой. Мой добрый учитель озаботился прихватить из погреба харчевни «Воин в доспехах» пять-шесть бутылок белого вина, которые он и припрятал под сидением, — благодаря чему мы могли скрасить дорожную скуку.

В полдень мы прибыли в Жуаньи, оказавшийся довольно живописным городком. Предвидя, что мои средства иссякнут еще до конца пути, и будучи не в силах примириться с мыслью, что оплачивать все расходы придется за меня г-ну д'Анктилю, на что я мог согласиться лишь в случае последней крайности, я задумал продать перстень и медальон, подарок моей матушки, и пустился по улицам Жуаньи на поиски ювелира. Наконец

на главной площади напротив собора я и обнаружил искомое — лавку золотых дел мастера, торговавшего цепочками и крестами под вывеской «Будьте благонадежны!». Легко представить себе мое изумление, когда перед прилавком я увидел доброго моего наставника, осторожно извлекавшего из бумажного фунтика бриллианты, — их было счетом пять или шесть, и я без труда признал те самые розочки, которыми хвастался перед нами г-н д'Астарак; передавая их владельцу лавки, аббат попросил назначить цену.

Хозяин внимательно осмотрел камешки и взглянул на аббата поверх очков.

— Сударь, — начал он, — будь это бриллианты настоящие, им бы цены не было. Но они поддельные, и, чтобы убедиться в этом, нет нужды даже прибегать к помощи пробного камня. Это — просто стеклянные бусинки, которыми впору играть детям, если, конечно, вы не пожелаете вправить бриллиантики в венец богоматери какого-нибудь сельского храма, где они непременно произведут должное впечатление.

Услышав такой ответ, г-н Куаньяр собрал свои камешки и повернулся к ювелиру спиной. Тут только он заметил меня, и мне показалось, что он смущен нашей встречей. Быстро закончив сделку, я вышел вместе с добрым моим учителем из лавки и тут же убедительно доказал ему, какой опасности мог он подвергнуть своих спутников и самого себя, присвоив бриллианты, если бы, на его беду, они оказались не поддельными.

— Сын мой, — ответил аббат, — дабы уберечь меня в состоянии невинности, господь бог возжелал, чтобы они были лишь видимостью и лжеобольщением. Признаюсь, что, присвоив их, я был неправ. Вы свидетель моего раскаяния, и эту страницу мне хотелось бы вырвать из книги моей жизни, где, откровенно говоря, попадают листки не такие уж чистые и, увы, запятнанные. Поверьте, я сам сознаю, что такое поведение предосудительно. Но не следует человеку, впавшему в грех, излишне предаваться самоуничижению; вот она, подходящая минута, чтобы напомнить себе речения прославленного ученостью мужа: «Поразмыслите, сколь немощен дух ваш, что подтверждается при самых ничтожных испытаниях; и все же ниспосланы они ради спасения души вашей. Гибель не в самих соблазнах и даже не в том, что вы поддадитесь им. Человек еси, а не господь бог; ты из плоти, а не ангел бесплотный. Как же можешь ты вечно пребывать в неизменном состоянии добродетели, коль скоро стойкости не хватало самим ангелам небесным и первому обитателю рая?» Итак, Турнеброш, сын мой, лишь такие возвышенные мысли и монологи приличествуют теперешнему состоянию моей души. Но не пора ли, после

этого злосчастливого шага, о котором не стану больше распространяться, воротиться на постоянный двор и распить с кучерами, людьми непритязательными и простыми, бутылочку-другую местного вина?

Я присоединился к мнению аббата, и мы отправились на постоянный двор, где повстречали г-на д'Анктиля, который подобно нам тоже успел пройтись по городу и приобрести колоду карт. Он тут же уселся играть в пикет с добрым моим наставником, и когда мы тронулись в путь, они и в карете продолжали игру, Азарт, охвативший моего соперника, дал мне случай свободно побеседовать с Иахилью, да и она, чувствуя себя покинутой, охотно мне отвечала. В этих беседах черпал я горькую усладу. Упрекая Иахиль за ее вероломство и неверность, я изливал свою печаль то в сдержанных, то в яростных жалобах.

— Увы, Иахиль, — говорил я, — вспоминая и представляя себе наши ласки, еще недавно радовавшие меня превыше всего, я испытываю жесточайшую муку при мысли, что сейчас вы такая же с другим, какой некогда были со мною...

На что Иахиль возражала:

— Женщина с каждым бывает иной.

Но когда я с излишней настойчивостью продолжал свои нарекания и попреки, она говорила:

— Не спорю, я огорчила вас. Но это еще не причина для того, чтобы казнить меня по двадцать раз на дню своими бессмысленными стенаниями.

После проигрыша г-н д'Анктиль обычно приходил в дурное расположение духа. По всякому поводу он стал дерзить Иахили, которая, не отличаясь терпением, грозила, что напишет дяде Мозаиду и попросит взять ее домой. Если первая ссора пробудила во мне проблеск надежды и радости, то после десятой я пришел в тревогу, видя, что вслед за гневной вспышкой следует бурное примирение, оканчивающееся над самым моим ухом нежным шепотом, поцелуями и страстными вздохами. Г-н д'Анктиль с трудом переносил мое присутствие. К моему же доброму наставнику он, напротив, чувствовал самое искреннее расположение, которое тот вполне заслуживал своим ровным и веселым нравом, а также и несравненным изяществом ума. Они, вместе развлекались карточной игрой, вместе пили, и взаимная их симпатия росла с каждым днем. Положив на сдвинутые колени дощечку, чтобы удобнее было играть в карты, они смеялись, шутили, подтрунивали друг над другом, хотя не раз колода летела в голову одного из игроков, сопровождаемая такой бранью, от которой залились бы краской стыда даже грузчики пристани св. Николая и паромщики с Майля; и хотя д'Анктиль, помяная бога, божью матерь и всех угодников, клялся,

что даже среди висельников не встречал такого завязаного мошенника, как аббат Куаньяр, он все же от души любил доброго моего наставника, и было приятно слышать, как через минуту, забыв о ссоре, он уже заливался смехом и твердил: — Знайте, аббат, я сделаю вас своим капелланом и своим неременным партнером в пикет. Будете также делить с нами охотничьи забавы. Подыщем где-нибудь в Перше мерина покрепче, чтобы не подогнулся под вами, и смастерим вам охотничий костюм вроде того, какой я видел на епископе Сеэзском. Впрочем, давным-давно пора вас одеть: не говоря худого слова, панталоны у вас, аббат, сзади совсем расползлись.

Иахиль тоже не могла устоять против неотразимого обаяния моего учителя, привлекавшего к нему все сердца. Она решила хоть отчасти привести в порядок его туалет. Разорвав свое старое платье, Иахиль поставила заплаты на подрясник и панталоны нашего достопочтенного друга и даже подарила ему кружевную косыночку, которую он повязал вместо брыжжей. Мой добрый учитель принимал эти скромные дары с достоинством, исполненным утонченного изящества. Я не раз имел случай убедиться, что в разговорах с особами женского пола он вел себя как человек отменного воспитания. Он проявлял к ним интерес, никогда не переступавший рамок приличия, превозносил их достоинства, умело, как знаток, давал им советы, почерпнутые из собственного многолетнего опыта, распространял на них безграничную снисходительность сердца, готового прощать дамам все их слабости, но не упускал, однако, случая преподать им высокие и полезные истины.

На четвертый день пути мы прибыли в Монбар и остановились на пригорке, откуда открывался весь город, уменьшенный расстоянием до таких размеров, что казался нарисованным рукой искусного живописца, стремившегося запечатлеть на холсте самые мельчайшие подробности.

— Посмотрите, — сказал мой добрый учитель, — на эти стены, на эти башни, колокольни, кровли, выступающие из густой зелени. Это — город, и пусть нам неведома ни история его, ни имя, следует, глядя на него, призадуматься, словно нет уголка земли более достойного наших размышлений. И в самом деле, любой город, каким бы он ни был, дает обильную пищу для рассуждений. Кучера сказали, что пред нами Монбар. Не слыхивал о таком. Тем не менее в силу аналогии берусь смело утверждать, что обитатели его — наши ближние — суть себялюбцы, трусы, вероломные души, сластолюбцы и распутники. В противном случае они не были бы люди и не вели бы своего происхождения от того самого Адама, одновременно и презренного и почтенного, который велик как первоисточник всех наших инстинктов, вплоть до самых низменных.

Единственно, чего мы не можем еще решить с уверенностью, — склонны ли эти люди более к чревоугодию или к воспроизведению рода. Хотя нет здесь места сомнениям: любой философ здраво рассудит, что для этих несчастных голод более настоящая потребность, нежели любовь. На заре своей юности я полагал, что для животного, именуемого человеком, важнейшая потребность — это сближение полов. Но я судил по себе. Бесспорно же, что люди более склонны к тому, чтобы сохранять свою жизнь, нежели давать жизнь другому. Именно голод властвует над людьми, впрочем, так как спор об этом здесь неуместен, — скажу, если угодно, так: жизнь смертных колеблется меж двух полюсов — голодом и любовью. А теперь откройте ваш слух и души! Эти дикие существа, созданные лишь для яростного взаимопожирания и взаимных объятий, живут вместе, подчиняясь закону, который как раз и запрещает им удовлетворять это двоякое и самонужнейшее вожделение. Закон препятствует им присваивать себе чужое добро силой или хитростью, что для них представляется непереносимым запретом, а также обладать всеми женщинами подряд, что противоречит их естественной склонности, особенно если они еще не общались с этими женщинами, ибо любопытство пробуждает желание сильнее, нежели воспоминание об уже испытанных наслаждениях. Так почему же тогда, объединившись для жизни в городах, они подчиняются закону, противоречащему их природным инстинктам? Непонятно, как удалось навязать им такого рода законы. Говорят, что первобытные люди приняли их, дабы без страха владеть своими женами и своим добром. Но они, без всякого сомнения, с большим вожделением взирали на чужое добро и на чужую жену, и мысль о том, чтобы завладеть ими силком, не пугала их: не будучи в состоянии рассуждать, они не испытывали недостатка в отваге. Нельзя представить себе дикарей, созидających справедливые законы. Вот почему я позволяю себе искать истоки и происхождение законов не в человеке, но вне человека, и полагаю, что исходят они от бога, который непостижимым мановением своей десницы сотворил не только сушу и воды, растения и животных, но также народы и общества. Люди только исказили и испортили эти законы. Не побоимся признаться: государство есть божественное установление. Отсюда явствует, что любое правление должно быть теократическим. Надобно возродить законы человеческие в их первоначальной чистоте.

Епископ, прославившийся участием в составлении декларации тысяча шестьсот восемьдесят второго года, господин Боссюэ, не совершил ошибки, желая согласовать положения политики с максимами Священного писания, и если он, увы, потерпел самую позорную неудачу, виной тому

лишь дюжинность его ума, который самым пошлым образом цеплялся за примеры, извлеченные из книги Судей и книги Царств, забывая о том, что когда господь бог вмешивается в дела мира сего, он принимает в расчет время и пространство и умеет провести различие между французами и израильтянами. Град, восстановленный под его единственно законной и подлинной властью, не будет градом ни Иисуса Навина, ни Саула, ни Давида, скорее уж это будет град евангелия, град сирых, где работника и блудницу не посмеет унижить фарисей. О милостивые государи, сколь достойна задача извлечь из Священного писания политические доктрины, более прекрасные и святые, чем те, которые с таким трудом высосал отсюда этот тяжеловесный и скудный мыслию господин Боссюэ! Град, который будет построен на фундаменте изречений Иисуса Христа, превзойдет своей гармоничностью град Амфиона^[78], возведенный при звуках лиры, и возникнет этот град в тот день, когда священнослужители, перестав угождать императору и королям, выкажут себя истинными правителями народа!

Примерно в трех лье от Монбара оборвалась постромка и, так как у кучеров не нашлось веревки, чтобы ее починить, а место оказалось пустынное и далекое от жилья, то, мы изнывали в бездействии. Чтобы убить скучные часы вынужденной остановки, мой добрый учитель с г-ном д'Анктилем уселись играть в карты, прерывая игру дружескими сварами, которые уже вошли у них в привычку. Пока наш молодой дворянин дивился, почему это на руках у его партнера то и дело оказывается козырной король, что явно противоречило теории вероятности, Иахиль отвела меня в сторону и взволнованно спросила, не вижу ли я карету, которая остановилась позади нашей за поворотом дороги. Поглядев в указанном направлении, я действительно заметил допотопную колымагу, смешную и нелепую на вид.

— Этот экипаж остановился одновременно с нашим, — добавила Иахиль. — Стало быть, он едет за нами по пятам. Мне бы очень хотелось разглядеть лица пассажиров, путешествующих в этом рыдване. У меня на сердце неспокойно. Ведь, верно, у этой кареты узкий и высокий верх? Она напоминает мне ту коляску, в которой дядя привез меня, совсем еще крошку, в Париж, после того как убил португальца. Если не ошибаюсь, все эти годы экипаж мирно стоял в каретном сарае Саблонского замка. Так вот эта карета очень похожа на ту, и я не могу без ужаса вспомнить, как неистовствовал тогда мой дядя. Вы даже себе представить не можете, Жак, до чего он свиреп. Я сама испытала силу его гнева в день нашего отъезда. Он запер меня в спальне, призывая ужасные проклятия на голову

господина аббата Куаньяра. Я трепещу при мысли, в какую ярость он впал, обнаружив пустую спальню, а на оконной раме веревку, которую я сплела из своих простынь, чтобы выбраться из дома и убежать с вами.

— Вы хотите сказать с господином д'Анктилем, Иахиль?

— Какой вы педант! Разве мы не едем все вместе? Но эта карета так похожа на дядину, что я не могу не тревожиться.

— Не волнуйтесь, Иахиль, в этой карете путешествует по своим делам какой-нибудь безобидный бургундец, который совсем о нас и не думает.

— Откуда вы знаете? — возразила Иахиль. — Я боюсь.

— Нечего бояться вам, мадемуазель, куда уж вашему дядюшке при его дряхлости носиться по дорогам, преследуя вас? Да он, кроме своей кабалистики и древнееврейских бредней, ничем и не интересуется.

— Вы его не знаете, — вздохнула Иахиль. — Он интересуется только мной. Он так меня любит, что ненавидит весь белый свет. Он любит меня так...

— Как «так»?

— Ну, по-всякому. Короче говоря, любит.

— Иахиль, ваши слова повергают меня в ужас. Праведное небо! Неужели этот Мозайд любит вас не с тем бескорытием, какое так умиляет нас в старце и столь приличествует дяде? Скажите же, Иахиль!

— О, вы сказали лучше, чем могу выразить я, Жак.

— Я немею. Возможно ли, в его-то годы?

— Друг мой, у вас белоснежная кожа и душа под стать ей. Всему-то вы удивляетесь. В этом простодушии вся ваша прелесть. Обмануть вас не стоит труда. Вам внушили, что Мозаиду сто тридцать лет, когда ему на самом деле немногим больше шестидесяти, что он просидел всю жизнь в великой пирамиде, тогда как он держал в Лиссабоне банкирскую контору, да и я сама при желании могла бы сойти в ваших глазах за саламандру.

— Неужели, Иахиль, вы говорите правду? Ваш дядя...

— Потому-то он так ревнив. Он считает своим соперником аббата Куаньяра. Он ни с того ни с сего возненавидел аббата с первого же взгляда. А с тех пор, когда он подслушал несколько фраз из той беседы, которую вел со мной наш славный аббат в тернистом кустарнике, он возненавидел его всей душою, как виновника моего бегства и похищения. Ибо в конце концов меня похитили, друг мой, и должно же это придать мне в ваших глазах хоть какую-нибудь цену. О, до чего нужно быть неблагодарной, чтобы покинуть столь доброго дядю! Но он держал меня взаперти, как рабыню, и я не могла этого больше выносить. К тому же мне ужасно захотелось стать богатой, и разве противоестественно желать себе земных

благ, будучи молодой и красивой? Нам дана всего одна жизнь, да и та быстротечна. Ведь меня-то никто не учил вашим прекрасным басням о бессмертии души.

— Увы, — воскликнул я, чувствуя, что жестокость Иахили только разжигает во мне любовный пыл. — Увы! Там, в Саблонском замке, возле вас я обладал всем, что требуется для счастья; чего же недоставало вам?

Иахиль сделала мне знак, что г-н д'Анктиль наблюдает за нами. Постромку починили, и наша карета покатила среди холмов, покрытых виноградниками.

Мы остановились в Ньюи, где решили отужинать и заночевать. Мой добрый наставник выпил с полдюжины бутылок местного вина, сильно подогревшего его красноречие. Г-н д'Анктиль, не пожелавший отстать от него, то и дело прикладывался к стакану, но соперничества в искусстве застольной беседы наш молодой дворянин не выдержал.

Ужин был весьма хорош; ночлег весьма дурен. Г-ну аббату Куаньяру отвели низенькую горницу под лестницей, и ему пришлось делить пуховую перину вместе с харчевником и его супругой, так что все трое чуть не задохнулись. Г-н д'Анктиль с Иахилью заняли комнату попросторнее, где с потолочных балок свисали копченые окорока и связки лука. Я же по приставной лестнице влез на чердак и растянулся на соломе. Когда я уже изрядно выспался, луч луны, проскользнувший сквозь щели крыши, упал на мои веки, как бы желая приподнять их в тот самый миг, когда в отверстии люка показалась Иахиль в ночном чепчике. Я не мог удержать крика, но она приложила палец к губам.

— Тише! — шепнула она. — Морис пьян как сапожник, или, вернее, как маркиз. Он спит внизу сном праведника.

— Какой Морис? — спросил я, протирая глаза.

— Анктиль. Кто же, по-вашему, здесь Морис?

— Вы правы. Но я и не знал, что его зовут Морис.

— Я сама только что узнала. Но какое это имеет значение?

— Вы правы, Иахиль, никакого значения это не имеет.

Иахиль была в одной рубашечке, и лунный свет стекал млечными каплями с ее обнаженных плеч. Она юркнула ко мне на ложе, и среди сладкого шепота я услышал самые нежные и самые грубые прозвища, которые легко слетали с ее губ. Потом она замолкла и стала осыпать меня поцелуями, тайну которых знала только она одна и перед которыми лобзания всех женщин мира кажутся пресными.

Близость соперника и само молчание довели мою страсть до предела. Неожиданность, радость мести, возможно извращенная ревность

разжигали мои желания. Упругое, крепкое тело Иахили, гибкие в своем буйстве движения держали меня в плену, требовали, сулили и были достойны самых пламенных ласк. Этой ночью мы познали бездну наслаждений, соприкасающихся с мукой.

Спустившись наутро во двор харчевни, я увидел там г-на д'Анктиля, который теперь, когда я его обманывал, показался мне не таким противным, как ранее. Да и он, со своей стороны, выказывал ко мне больше расположения, чем в начале пути. Он заговорил со мной по-дружески, доверчиво, и по-братски попенял меня, что в обращении с Иахилью я не проявляю должного внимания, не угождаю ей, не окружаю теми заботами, какие дама вправе ожидать от каждого порядочного мужчины.

— Она жалуется на вашу неучтивость, — заметил он. — Смотрите, Турнеброш, как бы и нам с вами не поссориться, если у вас с ней дойдет до размолвки. Она у нас красавица и любит меня сверх всякой меры.

Уже целый час наша берлина катила по дороге, как вдруг Иахиль, раздвинув занавеску, сказала мне:

— Тот экипаж снова здесь. Как бы мне хотелось разглядеть лица сидящих в нем путников. Но я ничего не вижу.

Я ответил, что расстояние слишком велико, да и утренняя дымка застилает вид. На это Иахиль возразила, что глаза у нее презоркие и она, несмотря на дальность расстояния и утреннюю дымку, непременно разглядела бы пассажиров, если б только у них были лица.

— Но у них не лица, — добавила она.

— Что же, по-вашему, у них? — спросил я со смехом.

Иахиль осведомилась, какие такие пошлости приходят мне в голову, коль скоро я так глупо смеюсь, и сказала:

— У них не лица, а маски. Нас преследуют два человека, и оба замаскированы.

Я решил предупредить г-на д'Анктиля и сказал, что, по всей видимости, эта дрянная колымага преследует нас. Но он попросил оставить его в покое.

— Если бы за нами гналось сто тысяч чертей, — воскликнул он, — я и тогда бы не пошевелился, у меня и так хлопот по горло, — попробуй уследи за этой жирной канальей-аббатом, он так ловко передергивает карты, что, кажется, я скоро останусь без гроша. Я даже подозреваю, Турнеброш, что вы нарочно, по предварительному сговору с этим старым плутом, подсовываете мне какую-то дрянную колымагу в самый разгар игры. Стоит ли волноваться только потому, что рядом проехала самая обыкновенная карета?

Иахиль шепнула мне на ухо:

— Предсказываю вам, Жак, что эта карета принесет нам несчастье. Я предчувствую это, а предчувствия никогда меня не обманывают.

— Неужели вы хотите уверить меня, что обладаете пророческим даром?

Она ответила вполне серьезно:

— Да, обладаю.

— Итак, вы пророчица! — воскликнул я улыбаясь. — Вот чудеса!

— Вы только потому насмехаетесь надо мной и не верите моим словам, что никогда не видели пророчиц вблизи. Какие же, по-вашему, должны быть пророчицы?

— Полагаю, что они должны быть девственны.

— Это не так уж необходимо, — уверенно произнесла она.

Подозрительная коляска скрылась за поворотом. Но беспокойство Иахили передалось г-ну д'Анктилю, и он, хоть старался скрыть это, все же велел пустить лошадей в галоп и посулил кучерам дать щедро на чай.

Он даже переусердствовал, выдав кучерам по бутылке вина, которое аббат хранил про запас в уголке кареты.

Вино воспламенило кучеров, которые не замедлили передать свой пыл лошадям.

— Можете успокоиться, Иахиль, — сказал г-н д'Анктиль, — теперь, когда мы мчимся таким аллюром, этой древней колымаге, влекомой конями, о которых упоминается в Апокалипсисе^[79], в жизни нас не догнать.

— Несемса как угорелые, — добавил аббат.

— Дай-то бог подальше уехать! — заметила Иахиль.

Справа от нас мелькали виноградники, разбитые по откосам дороги. Слева лениво катила свои воды Сона. Как вихрь пронеслись мы мимо Турньюского моста. На противоположном берегу реки раскинулся городок, и с пригорка на нас надменно взглянуло аббатство, обнесенное, точно крепость, высокими стенами.

— Вот одно из бесчисленных бенедиктинских аббатств, которыми, как драгоценными камнями, усыпана риза христианнейшей Галлии, — промолвил аббат. — Если бы господу было угодно дать мне удел сообразно моим наклонностям, я выбрал бы себе здесь келью и жил бы безвестный, счастливый и кроткий. Превыше всех прочих я почитаю орден бенедиктинцев за его ученость и чистоту нравов. У них чудесные библиотеки. Блажен тот, кто носит их рясу и следует их святому уставу! То ли потому, что я испытываю неудобство от резких толчков кареты, которая не преминет вскоре опрокинуться на ухабе, а ухабы здесь зверские, то ли

под бременем лет, которые требуют покоя и степенных размышлений, я особенно пылко жажду сидеть за столом в каком-нибудь почтенном книгохранилище среди безмолвного собрания хорошо подобранных томов. Их беседу предпочту разговорам людей, и самое заветное мое желание — трудиться в ожидании часа, когда господь призовет меня к себе. Я писал бы историю и предпочтительно историю римлян времен упадка республики. Ибо эпоха эта исполнена великих деяний и особенно поучительна. Я делил бы свое рвение между Цицероном, святым Иоанном Златоустом и Боэцием, и скромная, но плодотворная жизнь моя уподобилась бы саду Тарентского старца. Чего только я не изведal на своем веку и полагаю, что нет лучшей доли, чем, отдавшись наукам, стать невозмутимым свидетелем превратностей человеческих судеб, надеясь, что созерцание государств и минувших веков восполнит краткость наших дней. Но для этого надо быть последовательным и постоянным. А вот этих-то качеств мне больше всего и не хватало. Если только, хочу надеяться, мне удастся с честью выбраться из моих теперешних передряг, уж я постараюсь найти себе надежное и достойное пристанище в каком-нибудь высокоученом аббатстве, где изящная словесность не только в почете, но и в силе. Так и вижу себя упивающимся великолепным покоем, даруемым наукой. Если бы еще мне удалось заручиться услугами сильфов споспешествующих, о которых нам рассказывал старый безумец д'Астарак и которые, по его словам, являются на зов, когда вызывающий произносит магическое слово «Агла!..»

В ту самую минуту, когда с уст доброго моего наставника слетело это слово, страшный толчок свалил нас всех, осыпав градом битого стекла, на пол кареты, причем в таком живописном беспорядке, что я, накрытый юбками Иахили, задыхался в темноте, куда до меня доносился приглушенный голос аббата Куаньяра, клявшего шпагу г-на д'Анктиля, выбившую ему последние зубы, а над моей головой раздавались вопли Иахили, от которых сотрясался вольный воздух бургундских долин. Тем временем г-н д'Анктиль, не стесняясь в выражениях, клялся отправить кучеров на виселицу. Когда мне удалось, наконец, выбраться из-под юбок на свет божий, дворянин уже вылез наружу через разбитое окно. Мы с добрым моим учителем последовали его примеру, затем втроем извлекли нашу спутницу из опрокинувшейся кареты. Иахиль не ушиблась, и первой ее заботой было привести в порядок растрепанные кудри.

— Хвала небу! — сказал мой добрый учитель. — Я отделался только одним зубом, к тому же не самым крепким и не самым белым. Время, раскачав его, уготовило ему этим гибель.

Стоя на широко раздвинутых ногах и оперев руки в бока, г-н

д'Анктиль оглядывал перевернувшуюся карету.

— Эти каналы, — промолвил он, — здорово ее отделали. Если мы подыдем лошадей, она развалится в щепы. Она годится теперь, аббат, лишь для игры в бирюльки.

Лошади, свалившиеся при падении друг на друга, отчаянно лягались. Среди бесформенного хаоса конских круп, грив, ног и животов, от которых валил пар, торчали задранные к небесам сапоги нашего кучера. Второй кучер, которого отбросило в овраг, плевал кровью. При виде виновников катастрофы г-н д'Анктиль завопил:

— Негодяи! Почему только я тут же на месте не проткнул вас шпагой!

— Сударь, — возразил аббат, — не лучше ли сначала извлечь беднягу из-под конских тел, среди которых он погребен?

Мы дружно взялись за работу, и, только когда лошади были распряжены и поставлены на ноги, нам удалось определить размеры бедствия. Одна рессора лопнула, одно колесо сломалось и одна лошадь захромала.

— Живо приведите сюда каретника, — приказал г-н д'Анктиль кучерам, — чтоб через час все было готово!

— Здесь нет каретника, — ответили кучера.

— Ну, тогда кузнеца.

— Нет здесь кузнеца!

— Тогда шорника.

— Нет здесь шорника!

Мы огляделись вокруг. На западе до самого горизонта тянулись волнистые гряды виноградников. На пригорке, возле колокольни, дымила труба. По другую руку от нас текла Сона, окутанная прозрачным туманом, и на глади ее вод медленно расходился след, оставленный только что прошедшей баржей. Длинные тени тополей касались своей вершиной берегов. Разлитое вокруг нас безмолвие нарушал лишь пронзительный птичий щебет.

— Где мы? — спросил г-н д'Анктиль.

— В двух лье от Турню, а то и побольше, — ответил тот кучер, что харкал кровью после неудачного падения в овраг, — а до Макона и все четыре.

И, указав рукой на пригорок, где дымилась труба, венчавшая кровлю, он добавил:

— Вон та деревня, наверху, должно быть Валлар. Только оттуда помощи не жди.

— Разрази вас гром, — воскликнул г-н д'Анктиль. Пока сбившиеся в

кучу кони кусали друг друга за холку, мы приблизились к нашей карете, уныло лежавшей на боку.

Низенький кучер, которого мы извлекли из конских недр, заметил:

— Рессора — еще полбеды: ее можно заменить пасом, благо он крепкий, только тогда ходу у кареты такого легкого не будет. А вот колесо! И хуже всего, что моя шляпа там осталась.

— Плевать мне на твою шляпу! — воскликнул г-н д'Анктиль.

— Ваша милость, должно быть, не знает, что шляпа-то была новехонькая, — возразил низенький кучер.

— И все стекла разбиты! — вздохнула Иахиль. Она сидела на краю дороги, подстелив под себя накидку.

— Хорошо бы, если только стекла, — отозвался мой добрый наставник, — это горе легко поправить, спустим на худой конец шторы, но вот бутылки, должно быть, не в лучшем состоянии, чем стекла. Как только берлину поставят на колеса, непременно проверю. Тревожит меня и судьба моего Боэция, которого я запрягал под подушки с несколькими другими полезными сочинениями.

— Пустяки! — отрезал г-н д'Анктиль. — Карты у меня в кармане. Но неужели нам не удастся поужинать?

— Я уже думал об этом, — сказал аббат. — Не напрасно же господь бог создал на потребу человеку животных, населяющих землю, воздух и воду. Я искусный рыбак; подстергать карася с удилицем в руке — вот занятие, наиболее подходящее моему созерцательному нраву, и не раз берега Орны видели меня держащим хитрую снасть и размышляющим о вечных истинах. Поэтому отбросьте всякие заботы об ужине. Если мадемуазель Иахиль соизволит пожертвовать мне одну из булавок, поддерживающих ее юбки, я тут же смастерю крючок и льщу себя надеждой принести вам еще до наступления ночи двух, а то и трех карпов, которых мы и зажарим на костре, собрав побольше хворосту.

— Мы, как я вижу, возвращаемся в первобытное состояние, — сказала Иахиль, — но я не дам вам булавки, аббат, если вы не дадите мне что-нибудь в обмен; не то наша дружба пойдет врозь. А этого я не хочу.

— Итак, я заключаю выгодную сделку, — отозвался мой добрый учитель. — За булавку, мадемуазель, я плачу поцелуем.

И приняв из рук Иахили булавку, он приложился к ее щечке с отменной вежливостью, изяществом и пристойностью.

Потеряв зря много времени, мы пришли, наконец, к наиболее разумному решению. Кучера повыше, который уже перестал харкать кровью, мы отрядили верхом на лошади в Турню, за каретником, а его

собрату тем временем велели разжечь где-нибудь в укрытье огонь; к ночи поднялся ветер и сильно похолодало.

В сотне шагов от места катастрофы мы обнаружили возле дороги скалу мягкой породы, основание которой там и сям было размыто, так что образовались небольшие пещеры. В одной из таких пещерок мы и решили ждать, греясь у костра, возвращения кучера, отряженного гонцом в Турню. Второй кучер привязал трех оставшихся у нас лошадей, среди них одну хромую, к дереву неподалеку от нашего убежища. Аббат, который ухитрился смастерить удочку с помощью ивовой ветви, ниток, пробки и булавки, отправился на рыбную ловлю, движимый в равной мере своей склонностью к философическим размышлениям и желанием принести нам на ужин рыбы. Г-н д'Анктиль, оставшись в гроте с Иахилью и со мною, предложил нам сыграть в ломбер, требующий трех партнеров; игра эта, добавил он, будучи испанского происхождения, наиболее подходит к искателям приключений, в роли каковых мы очутились. И правда, в этой каменоломне с наступлением ночи на пустынной дороге наша маленькая труппа была вполне достойна выступить в какой-нибудь сцене из жизни Дон-Кихота, или, как его еще именуют, Дон-Кишота, столь любезного сердцу служанок. Итак, мы засели за ломбер. Игра эта требует сосредоточенности. Я делал ошибку за ошибкой, и мой не отличавшийся терпением партнер начал уже сердиться, когда вдруг при свете костра мы увидели смеющееся благородное лицо аббата. Развязав носовой платок, добрый мой наставник извлек три-четыре рыбешки, которых он вспорол с помощью ножа, того самого, что был украшен изображением нашего покойного государя в одеянии римского императора на триумфальной колонне, — и выпотрошил их с такой ловкостью, словно всю жизнь провел среди рыночных торговки; так самое малое деяние он совершал с тем же искусством, как и наиболее великое. Разложив пескариков на горячих угольях, он произнес:

— Открою вам, друзья мои, что, бредя вверх по течению реки в поисках подходящего места, я заметил ту самую апокалиптическую колымагу, которая так напугала нашу мадемуазель Иахиль. Она остановилась немного позади берлины. Пока я ловил рыбу, она, должно быть, проехала мимо вас, и теперь душа мадемуазель Иахили может быть спокойна.

— Мы ее не видели, — возразила Иахиль.

— Значит, она пустилась в путь, когда уже стемнело, — продолжал аббат. — Не видели, так слышали.

— Мы ее и не слышали, — ответила Иахиль.

— Стало быть, — подхватил аббат, — нынешняя ночь слишком беспросветна и глуха. Подумайте сами, чего ради эта карета станет торчать на дороге, ведь и колеса у нее все целы и лошади не хромают. Ну, что ей там делать?

— Действительно, что ей там делать? — переспросила Иахиль.

— Наш ужин, — продолжал мой добрый учитель, — напоминает своей простотой те библейские трапезы, когда благочестивые путники делили на берегу Тигра пищу свою с ангелом. Но у нас нет ни хлеба, ни соли, ни вина. Сейчас я попытаюсь извлечь из кареты провизию и посмотрю, не уцелела ли, по счастью, хоть одна бутылочка. Ибо иной раз бывает, что сила удара ломает стальной брус, а стекло даже и не треснет. Турнеброш, сын мой, дай мне, пожалуйста, свое огниво, а вы, мадемуазель, соблаговолите переворачивать рыбки. Я скоро вернусь.

Он ушел. Некоторое время мы прислушивались к его тяжелым шагам, но вскоре на дороге все стихло.

— Эта ночь, — заметил г-н д'Анктиль, — напоминает мне ночь накануне битвы при Парме. Надеюсь, вы знаете, что я служил под началом Виллара и участвовал в войне за наследство. Меня назначили в разведку. Ночь стояла темная, хоть глаз выколи. Такова одна из самых тонких военных хитростей. На разведку неприятеля посылают людей, которые возвращаются, ничего не разведав и не узнав. Но после битвы рапортуют о результатах поиска, и вот тут-то наступает час торжества стратегов. Итак, в девять часов вечера меня послали в разведку вместе с дюжиной лазутчиков...

И он стал рассказывать нам о войне за наследство и о своих любовных утехах с итальянками; рассказ его длился уже добрых четверть часа, как он вдруг воскликнул:

— А каналья Куаньяр все еще не возвращается. Готов биться об заклад, что он попивает там уцелевшее винцо.

Решив, что доброму моему учителю трудно управиться одному, я поднялся и пошел к нему на помощь. Ночь была безлунная, и, хотя на небе высыпали звезды, землю окутывал мрак, к которому мои глаза, ослепленные светом костра, никак не могли привыкнуть.

Когда я прошел по дороге не более полусотни шагов, до меня вдруг донесся страшный крик, который, казалось, вырвался не из человеческой груди, крик, не похожий ни на один, слышанный мною доселе, и леденящий ужас сковал мои члены. Я бросился в ту сторону, откуда донесся этот вопль смертельной тоски. Однако ноги плохо повиновались мне; изнывая от страха, я спотыкался во мгле. Когда я, наконец, добежал до

того места, где бесформенной, как бы разросшейся во тьме громадой валялась наша берлина, я увидел доброго моего наставника. Согнувшись вдвое, он сидел на краю откоса. Лица его я не мог разглядеть. Трепеща от волнения, я спросил:

— Что с вами? Почему вы кричали?

— Да, почему я кричал? — ответил он странно изменившимся, незнакомым мне голосом. — Я и не заметил, что крикнул. Турнеброш, не видели ли вы здесь поблизости человека? Он налетел на меня в темноте и грубо ударил кулаком в грудь.

— Пойдемте, — сказал я, — поднимитесь, мой добрый учитель.

Но, едва приподнявшись, аббат снова тяжело опустился на землю.

Я попытался его поднять и вдруг почувствовал, что моя ладонь, коснувшись его груди, стала совсем мокрая.

— У вас идет кровь?

— Идет кровь? Тогда мне конец. Он меня убил. Сначала я подумал, что он просто сильно ударил меня. Но выходит, он нанес мне рану, от которой, чувствую, мне не оправиться.

— Кто нанес вам удар, мой добрый учитель?

— Тот еврей. Я его не видел, но знаю, что это он. Как же могу я знать, что это он, раз я его не видел? Да, как? Как все это странно! Просто невероятно, не правда ли, Турнеброш? Во рту у меня привкус смерти, непередаваемый вкус... Так было суждено, боже мой! Но почему здесь, а не там! Вот тайна! *Adjutorium nostrum in nomine Domini... Domine, exaudi orationem meam...* [\[80\]](#)

С минуту он молился про себя, потом сказал:

— Турнеброш, сын мой, возьми две бутылки, которые я извлек из кузова и поставил рядышком. Сил больше у меня нет. Турнеброш, как потвоему, куда я ранен? Больше всего болит спина, и мне кажется, что жизнь капля по капле уходит из моего тела, течет по икрам. Разум мутится.

Пробормотав эти слова, аббат тихо склонился набок. Я едва успел подхватить его и попытался отнести к гроту, но с трудом дотащил только до дороги. Расстегнув сорочку, я обнаружил на его груди рану, она оказалась небольшой и почти не кровоточила. Я разорвал свои манжеты и приложил тряпки к ране, я звал на помощь, я кричал во все горло. Вскоре мне показалось, что кто-то спешит на мой зов со стороны Турню, и вдруг я увидел г-на д'Астарака. Как ни неожиданна была эта встреча, я не удивился, я совсем оцепенел от горя. Любимейший наставник испускал дух у меня на руках.

— Что случилось, сын мой? — спросил алхимик.

— Помогите мне, сударь, — воскликнул я. — Аббат Куаньяр умирает. Его убил Мозайд.

— Совершенно справедливо, что Мозайд пустился в ветхой карете в погоню за своей племянницей, — ответил г-н д'Астарак, — и я отправился с ним, надеясь возвратить вас к тем обязанностям, которые вы выполняли в моем доме. Со вчерашнего дня мы ехали вслед за вашей каретой, которая на наших глазах опрокинулась на ухабе. Тут Мозайд вышел из экипажа, то ли ему захотелось размять ноги, то ли он воспользовался данной ему властью стать невидимым, но только я его больше не видел. Возможно, что он уже предстал пред своей племянницей и проклял ее, ибо таково было его намерение. Но он не убивал аббата Куаньяра. Это эльфы, сын мой, убили вашего наставника, желая покарать его за то, что он выдал их тайны. Можете не сомневаться.

— Ах, сударь, — вскричал я, — не все ли равно, кто это был — иудей или эльфы; надо спасти аббата.

— Напротив, сын мой, это крайне важно. Ибо если его поразила десница человека, я без труда исцелю недуг при помощи кое-каких магических действий, но ежели он навлек на себя немилость эльфов, ему не миновать их неотвратимого мщения.

Не успел г-н д'Астарак закончить этой фразы, как, предводительствуемые кучером, с фонарем в руке показались г-н д'Анкиль с Иахилью, привлеченные моими криками.

— Как, господину Куаньяру худо? — произнесла Иахиль.

И опустившись на колени возле доброго моего наставника, она приподняла его голову и поднесла к его носу нюхательную соль.

— Мадемуазель, — сказал я, — вы причина его гибели. Он заплатил своей жизнью за ваш побег. Его убил Мозайд.

Иахиль обратила ко мне свое побледневшее от ужаса и залитое слезами лицо.

— А вы полагаете, — ответила она, — что так легко быть красивой и не причинять горя?

— Ах, — вздохнул я, — вы правы. Но мы потеряли лучшего из людей.

В эту минуту г-н аббат Куаньяр испустил глубокий вздох, поднял веки над закатившимися глазами, попросил томик Боэция и снова лишился чувств.

Кучер предложил перенести раненого в деревушку Валлар, расположенную на пригорке в полулье от дороги.

— Пойду приведу самую смирную из трех наших лошадей, — сказал он. — Мы привяжем беднягу покрепче и поведем лошадь шагом. На мой

взгляд, он сильно занедужил, Лицо у него совсем такое, как у того гонца, которого убили близ Сен-Мишель на этой же дороге, в четырех перегонах отсюда, рядом с Сенеси, где живет моя суженая. Тот хлопал веками и закатывал глаза, что твоя шлюха, не обессудьте на слове, господа. И ваш аббат тоже закатил глаза, когда барышня пощекотала ему кончик носа своим пузырьком. Для раненого это плохой знак; а вот девки хоть тоже иной раз закатывают глаза, да что им делается! Ваша милость сами небось знаете. Слава тебе господи, конец концу рознь. А глаза такие же... Подождите здесь, господа, сейчас приведу лошадь.

— Забавный малый, — заметил г-н д'Анктиль, — ловко это он сказал о потаскухах — как они закатывают глаза да млеют. Я видел в Италии солдат, так те, когда умирали, наоборот, выкатывали глаза и смотрели в одну точку. Так что никаких правил для смерти от ран не существует, даже в военном деле, где уж, кажется, все до мелочей предусмотрено уставом. Но за неимением более именитой особы соблаговолите вы, Турнеброш, представить меня этому дворянину в черном платье, который носит алмазные пуговицы и который, как я догадываюсь, и есть господин д'Астарак.

— Ах, сударь, — ответил я, — считайте, что я уже представил вас друг другу. У меня одна забота — помочь моему доброму учителю.

— Ну что ж! — сказал г-н д'Анктиль.

И, сделав шаг по направлению к алхимику, он произнес:

— Сударь, я отнял у вас любовницу и готов дать вам удовлетворение.

— Сударь, — возразил г-н д'Астарак, — слава небу, я не общаюсь с женщинами и просто не понимаю ваших намеков.

Тут возвратился кучер, ведя в поводу лошадь. Мой добрый учитель немного оправился. Вчетвером мы не без труда усадили его на лошадь и привязали веревкой. Потом наш кортеж двинулся в путь. Я поддерживал аббата справа, а слева держал его г-н д'Анктиль. Кучер вел лошадь в поводу и нес фонарь. Шествие замыкала плачущая Иахиль. Г-н д'Астарак вернулся к своей карете. Мы медленно продвигались вперед. Пока мы шли по дороге, все было более или менее благополучно. Но когда пришлось взбираться узкой тропкой, которая вилась среди виноградников, мой добрый учитель, кренившийся набок при каждом шаге лошади, потерял последние силы и вновь впал в обморочное состояние. Оставался единственный разумный выход — снять его с лошади и нести на руках. Кучер подхватил аббата под мышки, а я взял его за ноги. Подъем оказался крут, и не раз я со страхом думал, что вот-вот упаду прямо на каменистую дорогу под тяжестью своей живой крестной ноши. Наконец откос

кончился. Мы свернули на более отлогую узенькую дорожку, тянущуюся по вершине пригорка меж жилых изгородей, и вскоре по левую нашу руку показались первые кровли Валлара. Увидев их, мы положили наземь страдальца и остановились на минуту перевести дух. Потом снова подняли свою скорбную ношу и так достигли деревушки.

На востоке забрезжил розовый свет. В побледневшем предрассветном небе зажглась утренняя звезда. Защебетали птицы; мой добрый наставник тяжело вздохнул.

Опередившая нас Иахиль стучалась во все двери в надежде отыскать приют и лекаря. Крестьяне, взвалив на спины плетушки, с корзинами в руках спешили на сбор винограда. Один из них сказал Иахили, что Голар держит на площади постоянный двор с конюшней.

— А костоправ Кокбер, — добавил поселянин, — вон он стоит под тазиком для бритвы — это у него такая вывеска. Он тоже собирается на виноградник, потому и вышел из дома.

Костоправ оказался низеньким, весьма учтивым человеком. Он сказал нам, что недавно выдал замуж дочь и теперь у него есть свободная кровать, которую можно уступить раненому.

По приказанию Кокбера его супруга, дородная особа в поярковой шляпе поверх белого чепца, постелила кровать в комнате нижнего этажа. Она помогла нам раздеть г-на аббата Куаньяра и уложить его в постель. После чего отправилась за священником. Тем временем г-н Кокбер осмотрел рану.

— Посмотрите, — сказал я, — какая она маленькая и почти что не кровоточит.

— То-то и плохо, — ответил он, — и совсем мне не нравится, молодой человек. По мне, пусть рана будет побольше да посильнее кровоточит.

— Ничего не скажешь, — заметил г-н д'Анктель, — для брадобрея и сельского костоправа у него зоркий глаз. Нет ничего опаснее маленьких глубоких ран, совсем безобидных с виду. Возьмите, например, сабельный удар по лицу. И смотреть приятно и затягивается за неделю. Но знайте, почтеннейший, ранен мой капеллан, он же мой партнер в пикет. Можете ли вы поставить его на ноги, достаточно ли вы сведущи для этого, господин клистирщик?

— К вашим услугам, сударь, — с поклоном отвечал костоправ, — я брадобрей, но я также вправляю вывихи и врачую раны. Сейчас осмотрю вашего больного.

— Только поскорее, сударь, — взмолился я.

— Терпение, терпение! — сказал костоправ. — Сначала нужно

промыть рану, и я жду, пока в котелке закипит вода.

Мой добрый учитель снова пришел в себя и произнес медленно, но твердым голосом:

— Со светильником в руке обойдет он закоулки Иерусалима, и все, что было тайным, станет явным.

— Что, что вы сказали, мой добрый учитель?

— Обожди, сын мой, — ответил он, — я веду беседу со своей душой, как и пристало моему нынешнему положению.

— Вода закипела, — обратился ко мне брадобрей. — Приблизьтесь-ка к постели и подержите таз. Сейчас я промою рану.

В то время как сельский, костоправ промывал рану доброго моего наставника губкой, смоченной в теплой воде, в горницу вошла г-жа Кокбер в сопровождении священника. Тот держал в руке корзинку и садовые ножницы.

— Так вот он, бедняга, — проговорил он. — А я уже было отправился на виноградник; однако первый наш долг печься о лозе господней. Сын мой, — добавил он, подходя к аббату, — положитесь в недугах своих на всевышнего. Станем надеяться, что болезнь не так серьезна, как может показаться. А пока что надлежит исполнять волю господню.

Потом, повернувшись к брадобрею, он спросил:

— Дело спешное, господин Кокбер, или я успею еще заглянуть на свой участок? Белый-то виноград еще может подождать, пусть получше созреет, и даже дождик ему на пользу — еще сочнее станет. Но вот черный — самая пора снимать.

— Верно вы говорите, ваше преподобие, — отозвался Кокбер, — в моем винограднике многие гроздья уже начали гнить: от солнышка спаслись, а от дождя погибли.

— Увы, влага да засуха — вот два исконных врага виноградаря, — вздохнул священник.

— Ваша правда, — подхватил брадобрей, — но сейчас я исследую больного.

С этими словами он нажал пальцем на рану. — Ох, палач! — со стоном воскликнул страдалец.

— Не забывайте, что Христос отпустил палачам своим, — заметил священник.

— Да, но они не были брадобреями, — ответил аббат.

— Злокозненные речения, — промолвил священник.

— Не следует попрекать умирающего, если он и пошутит, — сказал мой добрый наставник. — Но я жестоко страдаю: этот человек меня убил, и

я умираю дважды. В первый раз я пал от иудейской десницы.

— Как это понимать? — осведомился священник.

— Самое разумное, ваше преподобие, не обращать внимания. Мало ли чего больной не скажет. Все это бред.

— Неправильно вы говорите, Кокбер, — прервал его священник. — Надобно уметь понимать речи больного в час исповеди, ведь бывает, что христианин за всю свою жизнь ничего путного не сказал, а на смертном одре такое мудрое слово произнесет, что перед ним откроются врата рая.

— Я имел в виду земную жизнь, — ответил брадобрей.

— Ваше преподобие, — обратился я к священнику. — Господин аббат Куаньяр, мой добрый наставник, вовсе не бредит, и, увы, более чем достоверно, что его убил некий иудей, именуемый Мозаидом.

— В таком случае, — подхватил священник, — раненый должен усмотреть в том особую милость господа бога, возжелавшего, дабы он погиб от руки потомка тех, что распяли Христа. Сколь удивительны пути провидения в нашем грешном мире. Значит, Кокбер, я еще успею заглянуть на свой участок?

— Можете, ваше преподобие, — ответил брадобрей. — Рана мне не нравится, но от таких ран умирают не вдруг. Это, ваше преподобие, такая рана, которая еще всласть наиграется с больным, как кошка с мышью, и при этой игре можно выиграть время.

— Ну и прекрасно, — подхватил священник. — Возблагодарим бога, сын мой, что он продлил часы вашей жизни; но бытие наше преходяще и недолговечно. Надобно быть готовым расстаться с жизнью в любую минуту.

Мой добрый наставник ответствовал торжественным тоном:

— Быть на земле и как бы не быть на ней; владеть, как бы не владея, ибо изменчив лик мира сего.

Снова вооружившись корзиной и ножницами, священник сказал:

— Не столько по вашему облачению и панталонам, сын мой, которые, проходя, я заметил на спинке стула, сколько по вашим речам я понял, что вы человек духовного звания и святой жизни. Были ли вы посвящены в сан?

— Он священнослужитель, — отвечал я, — доктор богословских наук и профессор красноречия.

— А какой епархии? — осведомился священник.

— Сеэзской в Нормандии, руанского викариата.

— Недурная церковная вотчина, — одобрил священник, — но все же уступает в смысле древности и славы рейнской, служителем которой

являюсь я.

И он вышел. Г-н Жером Куаньяр провел день довольно спокойно. Иахиль вызвалась сидеть ночью у постели больного. В одиннадцать часов вечера я покинул жилище г-на Кокбера и отправился на розыски постоянного двора почтенного Голара. Тут я столкнулся с г-ном д'Астаракком: в свете луны его непомерно огромная тень лежала от одного угла площади до другого. По своей привычке он положил руку мне на плечо и промолвил обычным торжественным тоном: — Хочу, наконец, сын мой, успокоить вас; только с этой целью я и согласился сопутствовать Мозаиду. Я вижу, что вас жестоко терзает нежить. Эта земная мелкота обступила вас, одурачила фантазмагориями, обольстила обманными видениями и под конец толкнула на бегство из моего дома.

— Увы, сударь, — отвечал я, — совершенно справедливо, что я оставил ваш гостеприимный кров, выказав себя человеком неблагодарным, за что и молю простить меня. Но меня преследовали стражники, а отнюдь не домовые и нежить. И добрый мой наставник убит. Какая уж тут фантазмагория.

— Не сомневайтесь в том, — подхватил великий кабалист, — что несчастного аббата сразила насмерть рука сильфов, чьи тайны он неосторожно выдал. Он похитил из шкафа несколько драгоценных камней, которые только еще начали мастерить сильфы, и потому эти розочки пока уступают бриллиантам в блеске и чистоте воды.

— Вот эта-то алчность, а также слово "Агла", неосмотрительно им произнесенное, и разгневало сильфов. А вам следует знать, сын мой, — даже философам не дано остановить карающей десницы этого вспыльчивого народца. Сверхъестественным путем, а также из донесения Критона я знал о безбожном посягательстве господина Куаньяра, дерзко похвалявшегося, что ему удалось подсмотреть, каким способом саламандры, сильфы и гномы выпаривают утреннюю росу и постепенно обращают ее в кристаллы и алмазы.

— Увы, сударь, смею заверить вас, что он об этом и не помышлял и что его поразил на дороге своим стилетом ужасный Мозаид.

Мои слова сильно пришлись не по вкусу г-ну д'Астаракку, и он весьма настоятельно посоветовал мне никогда не вести подобных речей.

— Мозаид, — добавил он, — достаточно искусен в кабалистике, и ему нет нужды гоняться за врагами, которых он хочет поразить. Знайте, сын мой, если б он действительно намеревался убить господина Куаньяра, он мог бы преспокойно сделать это, не покидая своей комнаты, прибегнув к магическим пассам. Вижу, что вам еще неведомы первоосновы

кабалистической науки. На самом же деле произошло вот что: сей ученый муж, узнав от верного Критона о побеге племянницы, сел в карету и пустился в дорогу с целью догнать ее и вернуть домой. Что он и сделал бы, если б увидел, что, в душе этой несчастной сохранился хотя бы проблеск сожаления и раскаяния. Но, убедившись, что она безвозвратно погрязла в пороках, он предпочел отлучить ее и проклясть именем Сфер, Колес и чудищ Елисеевых. И он выполнил свое намерение на моих глазах в своей карете, где и сейчас пребывает в уединении, не желая делить с христианами ложе и трапезу.

Молча внимал я этим речам, произносившимся как бы в забытьи: этот необыкновенный человек говорил так красноречиво, что даже смутил меня.

— Почему, — говорил он, — вы противитесь тому, чтобы вас просветил философ? Какую мудрость, сын мой, можете вы противопоставить моей? Знайте же, что ваша мудрость уступает моей лишь количественно, но по сути своей не отличается от нее. Вам, так же как и мне, природа представляется как бесконечное множество образов, которые подлежат изучению и упорядочению и составляют как бы длинную цепь иероглифов. Вы без труда опознаете многие из этих знаков, с которыми связываете определенный смысл; но вы чересчур склонны довольствоваться смыслом обыденным и буквальным и недостаточно ищете идеального и символического. Меж тем мир познаваем только лишь как символ, и все, что мы созерцаем во вселенной, не что иное, как азбука образов, которую людская чернь еле разбирает по складам, не понимая ее смысла. Ученые, заполняющие наши академии, лишь беспомощно мямлят и блеют на этом вселенском языке; бойтесь же подражать им, сын мой, и примите лучше из моих рук ключ ко всякому знанию.

Он помолчал и заговорил уже более доверительным тоном:

— Вас преследуют, сын мой, не столь опасные враги, как сильфы. И вашей саламандре нетрудно будет освободить вас от всей этой нежити, если вы только попросите ее об этом. Повторяю вам, я приехал с Мозаидом лишь затем, чтобы дать вам добрый совет и поторопить вас возвратиться ко мне для продолжения начатых нами трудов. Я понимаю, что вы хотите присутствовать при последних часах вашего несчастного учителя. Предоставляю вам полную свободу. Но не замедлите затем вернуться в мой дом. Прощайте! Нынешней ночью я возвращаюсь в Париж вместе с нашим великим Мозаидом, которого вы столь несправедливо заподозрили.

Я пообещал г-ну д'Астараку сделать все, что он пожелает, и уныло поплелся на постоялый двор, где, упав на убогое ложе, забылся, разбитый усталостью и горем.

* * *

На рассвете следующего дня я уже снова был в доме костоправа и застал там Иахиль неподвижно сидящей на сломанном стуле у изголовья славного моего учителя; в черной накидке на голове она походила на самую заботливую, усердную и долготерпеливую сиделку. Г-н Куаньяр лежал в полузабытьи, лицо его пылало.

— Он провел тяжелую ночь, — тихо сказала Иахиль. — Все время разговаривал, пел, называл меня сестрой Жерменой и обращался ко мне с игривыми предложениями. О, я, конечно, не обижаюсь, но посудите, как же помутился его ум.

— Увы! Если бы вы не обманули меня, Иахиль, — вскричал я, — если бы не пустились в дорогу с этим дворянином, добрый мой наставник не лежал бы здесь, в постели, с пронзенной грудью!

— Если я о чем и сожалею горько, так это как раз о беде, приключившейся с нашим другом, — ответила она. — Об остальном же, право, не стоит и говорить, и я диву даюсь, как можете вы помнить об этих пустяках в такую минуту.

— Я только и делаю что думаю об этом, — ответил я.

— А я вовсе не думаю, — перебила она. — Свое горе вы сами на три четверти сочинили.

— Что вы хотите этим сказать, Иахиль?

— А то, друг мой, что я только выткала канву, вы же вышиваете по ней узоры, и воображение ваше слишком щедро расцвечивает простой житейский случай. Клянусь вам, я уже не помню и четверти того, что вас терзает, но вы упорно возвращаетесь к этому предмету и не можете забыть о сопернике, о котором я вспоминаю куда реже. Выкиньте все это из головы и не мешайте мне дать питье аббату; видите, он просыпается.

В эту минуту г-н Кокбер приблизился к постели, раскрыл свою сумку, сделал перевязку и во всеуслышанье заявил, что рана, по-видимому, затягивается. Потом он отвел меня в сторону.

— Могу вас заверить, сударь, — проговорил он, — что наш славный аббат не умрет от полученной раны. Но, по правде сказать, я опасюсь, что ему не оправиться от острого воспаления плевры, вызванного ранением. Сейчас его сильно лихорадит. Но вот и его преподобие.

Мой добрый наставник сразу же узнал вошедшего и учтиво осведомился, как он поживает.

— Не в пример лучше, чем мой виноградник, — отвечал священник, — он изрядно попорчен филлоксерой и червями, которые должны были бы погибнуть после торжественного крестного хода с хоругвями, устроенного духовенством Дижона нынче весной. Придется, видно, в наступающем году устроить еще более торжественное шествие и не жалеть свечей. А духовному судье надобно будет снова предать анафеме насекомых, вредящих винограду.

— Господин кюре, говорят, будто в своих виноградниках вы развлекаетесь с девицами, — промолвил славный мой учитель. — Фи! Это в ваши-то лета! В молодости и я, признаться, подобно вам был падок до девчонок. Но время усмирило мою плоть, и я недавно пропустил мимо монашенку, так ничего и не сказав ей. Вы же, ваше преподобие, видать, совсем иначе управляетесь и с девицами и с бутылками. Но вы поступаете и того хуже — не служите обеден, за которые вам уплачено, и торгуете церковным добром. Вы — двоеженец и святокупец.

Священник слушал эти речи в горестном изумлении; он так и застыл с отверстым ртом, а щеки его обвисли скорбными складками по обе стороны мясистого подбородка.

— Сколь кощунственное оскорбление сана, коим я облечен! — вздохнул он, подняв взор к потолку. — И что за речи ведет он, уже готовясь предстать перед божьим судом! О господин аббат! Подобаает ли вам говорить такие вещи, вам, кто прожил святую жизнь и изучил столько книг?

Добрый мой учитель приподнялся на локтях. Лихорадка, словно в насмешку, возвратила его лицу то выражение лукавой веселости, которое некогда так пленяло нас.

— Истинно, я изучал древних авторов, — проговорил он. — Но мне довелось прочесть куда меньше, чем второму викарию его преосвященства, епископа Сеэзского. Хотя внешне и внутренне он походил на осла, но оказался еще более усердным книгочиём, нежели я, ибо был он косоглаз и пробегал по две страницы сразу. Вот оно как, ваше блудодейственное преподобие! Что? Набегался, старый греховодник, по притонам в лунные ночи? Подружка твоя, священник, вылитая ведьма. Смотри, какая у нее борода! Это — супруга костоправа-брадобрея. У него знатные рога, так ему и надо, недоноску этому, чьи медицинские познания ограничиваются умением ставить клистир.

— Боже милостивый! Что он такое мелет? — вскричала г-жа Кокбер. — Должно быть, в него бес вселился.

— Немало мне доводилось слышать бреда, — заметил г-н Кокбер, —

но ни один больной не вел столь злонамеренных речей.

— Вижу я, — произнес священник, — нам придется немало помучиться, прежде чем удастся приуготовить его к честной кончине. Натуре этого человека присущи язвительность и склонность к непристойностям, чего я поначалу не заметил. Он ведет речи, не подобающие священнослужителю, да еще тяжелобольному.

— Тут виной горячка, — вмешался костоправ-брадобрей.

— Однако, — продолжал священник, — горячка эта, если ее не приостановить, может привести его прямехонько в ад. Он только что выказал полное неуважение к духовному сану. И все же я возвращусь увещевать его завтра, ибо мой долг, по примеру спасителя нашего, проявить к нему бесконечное милосердие. Но на этот счет у меня есть немалые сомнения. В довершение бед в моей давильне появилась трещина, а все работники заняты в виноградниках. Кокбер, не сочтите за труд сказать об этом плотнику; вы призовете меня к раненому, если состояние его внезапно ухудшится. Да, забот, как видите, хватает, Кокбер!

На следующий день г-ну Куаньяру настолько полегчало, что у нас зародилась надежда на его выздоровление. Учитель выпил бульона и даже сел, облокотившись на подушки. Он обращался к каждому из нас с присущими ему изяществом и добротой. Г-н д'Анктиль, который остановился на постоялом дворе Голара, посетил его и довольно некстати предложил сыграть в пикет. Добрый мой наставник, улыбнувшись, пообещал сразиться с ним на следующей неделе. Однако к исходу дня у него снова сделался жар. Он побледнел, в глазах его застыл невыразимый ужас; дрожа всем телом и щелкая зубами, он вскричал:

— Вот он, старый жидюга! Это — сын Иуды Искарюта, которого тот прижил с ведьмой, принявшей обличье козы. Но он будет повешен на отцовской смоковнице, и внутренности его вывалятся наземь. Хватайте его... Он меня убивает! Мне холодно!

Минуту спустя, отбросив одеяло, больной пожаловался, что изнывает от жары.

— Меня нестерпимо мучит жажда, — проговорил он. — Дайте вина! Но остудите его. Госпожа Кокбер, скорее освежите его в водоеме, ведь день обещает быть жарким.

Стояла ночь, но в мозгу аббата путалось представление о времени.

— Живее, — торопил он г-жу Кокбер, — смотрите, только не окажитесь столь просты, как звонарь сеэзской кафедральной церкви: отправившись к колодцу, дабы вытащить оттуда бутылки с вином, которое он охлаждал, человек этот увидел в воде собственное отражение и

принялся вопить: «Ко мне, господа, скорей, на помощь! Там внизу объявились антиподы, они выпьют все наше вино, если мы их вовремя не обуздаем».

— Да он весельчак, — заметила г-жа Кокбер. — Однако только что он делал на мой счет весьма непристойные предположения. Если бы я и изменяла Кокберу, то уж, конечно, не с их преподобием, принимая во внимание сан и возраст господина кюре.

Как раз в это мгновение в комнату вошел священник.

— Ну, как, господин аббат? — обратился он к моему наставнику. — В каком расположении духа вы находитесь? Что новенького?

— Благодарение богу, в мозгу моем нет ничего нового, — отвечал г-н Куаньяр. — Ибо, как изрек святой Иоанн Златоуст, — бегите новизны. Не ходите тропами непроторенными: стоит только раз сбиться с пути, и станешь плутать до гроба. Я — печальный пример тому. Я тем и погубил себя, что пустился неторной стезею. Послушался своего внутреннего голоса, и он вверг меня в бездну. Ваше преподобие, я жалкий грешник. Безмерность моих прегрешений гнетет меня.

— Вот истинно прекрасные речи, — воскликнул священник. — Это сам господь бог внушает их вам. Узнаю его неповторимый слог. Не желаете ли вы, чтобы мы приступили к спасению вашей души?

— С великой охотой, — отвечал г-н Куаньяр. — Ибо прегрешения мои ополчаются на меня. Я зрю среди них и великие, и малые, и кроваво-красные, и аспидно-черные. Зрю малорослые, что гарцуют на собаках и свиньях, зрю и другие, жирные, голые, с сосцами как бурдюки, с брюхом в огромных складках, с необъятными ягодицами.

— Может ли быть, — изумился священник, — что вы видите их столь отчетливо? Но если грехи ваши таковы, как вы утверждаете, сын мой, то лучше уж не описывать их, а попросту ненавидеть в душе своей.

— Уж не хотите ли вы, ваше преподобие, — продолжал аббат, — чтобы прегрешения мои походили на Адониса? Но хватит об этом. А вы, брадобрей, подайте мне питье. Знаком ли вам господин де ла Мюзардьер?

— Нет, сколько я припоминаю, — отвечал г-н Кокбер.

— Да будет вам известно, — продолжал мой добрый учитель, — он был весьма падок до женщин.

— Именно таким путем, — вмешался священник, — дьявол и берет обычно верх над человеком. Но куда вы клоните, сын мой?

— Сейчас поймете, — отвечал добрый мой наставник. — Господин де ла Мюзардьер назначил некоей девственнице свидание на конюшне. Она пришла, он же позволил ей уйти оттуда такой, какой она явилась. А знаете

почему?

— Нет, — отозвался священник, — но оставим этот разговор.

— Напротив, — продолжал г-н Куаньяр. — Да будет вам ведомо, что он остерегся вступить с нею в плотское общение из боязни зачать жеребенка и навлечь на себя этим судебное преследование.

— Ах! — вырвалось у брадобрея. — Скорее уж должен он был бояться зачать осла.

— Вот именно, — подтвердил священник. — Но все это мало подвигает нас по пути в рай. Пора вернуться на стезю праведных. Ведь вы только что держали столь назидательные речи!

В ответ мой добрый наставник принялся петь довольно громким голосом:

Мы короля Луи повеселим:
В пятнадцать дудок мы ему дудим,
Ландериретта,
И вот уж в пляс пустилася метла,
Ландерира...

— Если вам хочется петь, сын мой, — заметил священник, — спойте уж лучше какой-нибудь добрый бургундский рождественский псалом. Так вы возрадуетесь духом и очиститесь.

— С превеликим удовольствием, — отвечал добрый мой учитель. — У Ги Барозе есть псалмы, которые, несмотря на их кажущуюся простонародность, блестят куда ярче бриллианта и стоят дороже золота. Вот этот, к примеру:

Студеные ночи стояли,
Как в мир наш спаситель пришел,
И в яслях его согревали
Дыханьем бычок и осел.
Немало быков и ослов
Мы в Галлии славной видали,
Немало быков и ослов, —
Но был их удел не таков!

Костоправ, его жена и священник подхватили хором:

Немало быков и ослов
Мы в Галлии славной видали,
Немало быков и ослов,
— Но был их удел не таков!

И добрый мой учитель продолжал голосом уже несколько ослабевшим:

Но главного мы не сказали:
Дыханием грея дитя,
Всю ночь без еды и питья
Бычок и осел простояли.
Немало быков и ослов
В парче и шелку мы видали,
Немало быков и ослов,
— Но был их удел не таков!

Потом он уронил голову на подушку и умолк.

— В этом христианине, — обратился к нам священник, — многое заслуживает похвалы, очень многое; еще совсем недавно я сам заслушался его прекрасных наставлений. Но я не могу не тревожиться за него, ибо все решает кончина, и никому не дано знать, что он прибережет для последнего часа. Господь по благодати своей полагает наше спасение в едином миге; но только мгновение это должно быть последним, так что все и зависит от сего последнего мига, в сравнении с коим вся остальная жизнь — лишь звук пустой. Вот почему я и трепещу за нашего больного, ибо душу его яростно оспаривают ангелы и демоны. Но не следует отчаиваться в божественном милосердии.

* * *

Два дня мой добрый учитель провел в жестоком борении между жизнью и смертью. После чего он впал в крайнюю слабость.

— Надежды больше нет, — шепнул мне г-н Кокбер. — Взгляните, как голова его ушла в подушки и как заострился нос. Видите?

В самом деле, нос доброго моего учителя, некогда мясистый и багровый, походил теперь на выгнутый клинок и отливал свинцом.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он мне голосом все еще ясным и сильным, но звук которого был мне вовсе не знаком. — Чувствую, что мне уже недолго жить. Ступай и призови сюда этого доброго пастыря, дабы он принял мою исповедь.

Священник был у себя в винограднике, я кинулся туда.

— Сбор винограда окончен, — сказал он мне, — и урожай оказался куда обильнее, чем я полагал; пойдете же, я приму исповедь у этого страждущего.

Я проводил его к ложу доброго моего учителя и оставил наедине с умирающим.

По прошествии часа священник вышел к нам и сказал:

— Смею вас заверить, что господин Жером Куаньяр умирает, исполненный самых прекрасных чувств благочестия и смирения. Во внимание к его просьбе и рвению намереваюсь я причастить его святых тайн. Пока я стану облачатся в стихарь и эпитрахиль, вы, госпожа Кокбер, соблаговолите прислать в ризницу мальчика, что прислуживает мне ежеутренне во время обедни, и приготовьте комнату для приятия всеблагого господя.

Жена костоправа подмела пол, застлала постель белоснежным одеялом, придвинула к изголовью столик и покрыла его скатертью; она поставила на него два подсвечника с зажженными свечами и фаянсовую чашу со святой водою, в которой стояла веточка буксуса. С дороги к нам донесся звук колокольчика, которым размахивал на ходу служка, и вскоре мальчик вступил в комнату с крестом в руках; за ним следовал облаченный в белые одеяния священник со святыми дарами. Все мы — Иахиль, г-н д'Анктиль, супруги Кокбер и я — опустили на колени.

— *Rex huic domui*, ^[81] — возгласил священник.

— *Et omnibus habitantibus in ea*, ^[82] — подхватил служка.

После чего священник зачерпнул святой воды и окропил ею больного

и ложе.

Он сосредоточенно помолчал с минуту и торжественно произнес:

— Сын мой, не желаете ли вы что-нибудь сказать?

— Желая, господин кюре, — отвечал аббат Куаньяр твердым голосом.

— Я прощаю убийце моему.

Тогда священнослужитель извлек из дароносицы остию и провозгласил:

— *Esse agnus Dei, qui tollit peccata mundi.* [\[83\]](#)

Славный мой учитель ответил со вздохом:

— Как осмелюсь обратиться к господу моему я, кто всего лишь прах и пепел? Как дерзну предстать пред ликом его я, в ком нет ни на йоту благодати, в коей мог бы я почерпнуть решимость? Как введу я его в обитель духа своего, я, столь часто оскорблявший взор спасителя, исполненный кротости?

И аббат Куаньяр получил последнее причастие в глубоком молчании, прерываемом лишь нашими рыданиями да трубным звуком, который, сморкаясь, издавала г-жа Кокбер.

После соборования добрый мой наставник сделал мне знак приблизиться и заговорил голосом слабым, но ясным:

— Жак Турнеброш, сын мой, откинь, по примеру моему, наставления, которые я внушал тебе в состоянии безумия, длившегося, увы, всю мою жизнь. Страшись женщин и книг, ибо они расслабляют наш дух и ввергают в гордыню. Смирись сердцем и разумом своим. Господь бог просвещает малых сих, они мудрецы мира сего. Он источник всякого знания. Сын мой, не слушай тех, кто подобно мне пожелает мудрствовать по поводу добра и зла. Не дай увлечь себя изысканностью и красотой их речей. Ибо царствие божие зиждется не на словах, а на добродетели.

Обессиленный, он умолк. Я схватил его руку, лежавшую поверх одеяла, покрыл ее поцелуями и оросил слезами. Я твердил, что он наш наставник, наш друг, наш отец и что я не мыслю жизни без него.

Долгие часы оставался я, убитый горем, у его изголовья.

Ночь он провел так спокойно, что во мне зародилась безумная надежда. В том же состоянии аббат пребывал и весь следующий день. Но к вечеру начал метаться и произносить слова, столь невнятные, что они навеки останутся ведомы лишь богу и ему.

В полночь учитель вновь впал в глубокое забытие, и в комнате раздавался лишь легкий шорох, который производили его ногти, царапавшие одеяло. Он уже никого не узнавал.

В два часа ночи он начал хрипеть: сиплое, учащенное дыхание,

вырывавшееся из его груди, было слышно далеко на деревенской улице и так терзало мой слух, что еще несколько дней, последовавших за этой злосчастной ночью, мне все чудилось, будто я слышу этот хрип. На заре он сделал рукою знак, которого мы не смогли понять, и испустил глубокий вздох. Последний вздох. Лицо его приняло в смерти величественное выражение, соответствующее благородству духа, обитавшего в нем, чья утрата вовеки невозместима.

* * *

Валларский священник устроил г-ну Жерому Куаньяру торжественные похороны. Он отслужил по нем панихиду и возвестил отпущение грехов.

Добрый мой наставник был погребен на церковном кладбище. И г-н д'Анктель дал у Голара ужин всем, кто принял участие в погребальной церемонии. Присутствующие угощались молодым вином и распевали бургундские песни.

На следующий день я вместе с г-ном д'Анктелем отправился поблагодарить священника за его благочестивые труды.

— Ах! Аббат Куаньяр принес нам великое утешение своей назидательной кончиной, — вскричал святой человек. — Не много видел я христиан, что умирали, преисполненные столь возвышенных чувств, и нам должно запечатлеть память о нем достойной надписью на его надгробье. Оба: вы, милостивые государи, достаточно образованны и, конечно, справитесь с делом, я же позабочусь о том, чтобы эпитафия была вырезана на большом белом камне, с сохранением того вида и слога, который вы для нее изберете. Однако ж помните, что, заставляя глаголать камень, вы должны прославлять бога, и только его.

Я просил не сомневаться, что приступлю к делу с наивозможным усердием, а г-н д'Анктель пообещал со своей стороны придать надписи блеск и изящество.

— Я хочу, — заявил он, — попытаться сложить ее французскими стихами, следуя образцам господина Шапеля^[84].

— В добрый час! — напутствовал нас священник. — Не полюбобопытствуете ли вы, однако, взглянуть на мою давильню? Вино в этом году будет чудесное, а винограда я собрал столько, что достанет и для моих нужд и для нужд моей служанки. Увы! Не будь филоксеры, урожай был бы еще обильнее.

Отужинав, г-н д'Анктель потребовал письменный прибор и приступил к сочинению французских стихов. Но вскоре, потеряв терпение, отшвырнул перо, чернильницу и бумагу.

— Турнеброш, — обратился он ко мне, — я сложил всего-навсего два стиха, да и то не уверен, хороши ли они; вот какими они вышли из-под моего пера:

Здесь лежит аббат Жером,

Все когда-нибудь умрем.

— Две эти строки, — сказал я ему, — хороши уж тем, что они не требуют третьей.

И всю ночь напролет я просидел над составлением латинской эпитафии. Вот что у меня получилось:

**D. O. M.
Hic jacet
in spe beatae aeternitatis
Dominus Hieronymus Coignard Presbyter
Quondam in bellovacensi collegio
eloquentiae niagister eloquentissimus
Sagiensis episcopi bibliothecarius solertissimus
Zozimi Panapolitani ingeniosissimus translator
Opere tamen immaturata morte intercepto
periit enim cum lugdunum peteret
Judaea manu nefandissima
id est a nepote Christi carnificum
in via trucidatus
Anno aet LII,
Comitate fuit optima doctissimo convictu
ingenio sublimi
facetiis jucundus sententiis plenus
donorum dei laudator
Fide devotissima per multas tempestates
constanter munitus
Humilitate sanctissima ornatus
saluti suae magis intentus
quam vano et fallaci hominum judicio
Sic honoribus mundanis
nunquam quaesitis
sibi gloriam sempiternam
meruit.**

В переводе эпитафия эта звучит приблизительно так:

Здесь покоится,

в надежде на вечное блаженство,
мессир Жером Куаньяр, священнослужитель,
некогда красноречивый профессор красноречия коллежа
Бове,
весьма усердный библиотекарь епископа Сеэзского,
автор великолепного перевода Зосимы
Панополитанского,
который остался, по несчастью, незавершенным,
ибо преждевременная смерть оборвала сей труд.
На 52 году жизни
презлодейская рука некоего иудея
поразила его кинжалом на Лионской дороге,
и он стал тем самым жертвой одного из потомков
палачей
господа нашего Иисуса Христа.
Был он приятен в обращении,
учен в беседе,
отмечен возвышенным гением и щедро
рассыпал забавные шутки и прекрасные наставления,
воздавая хвалу господу и творениям его.
Сквозь жизненные бури пронес он непоколебимую веру.
В своем воистину христианском унижении,
более озабоченный спасением души своей,
нежели суетным и обманчивым мнением людским,
уже тем, что прожил без почестей в сей юдоли,
вознесен он ныне к престолу вечной славы.

* * *

Через три дня после того, как преставился славный мой наставник, г-н д'Анктиль решил отправиться в путь. Экипаж был починен, наш дворянин велел кучерам быть наготове к утру следующего дня. Общество этого человека никогда не было мне приятно. Состояние же скорби, в коем я находился, сделало его для меня непереносимым. Я не мог и подумать о том, что придется продолжать путь вместе с ним и с Иахилью. И я решил, приискав себе занятие в Турню или в Маконе, жить там, скрываясь до той поры, пока не уляжется буря и станет возможно возвратиться в Париж, где, я не сомневался, родители примут меня с распростертыми объятиями. Я осведомил г-на д'Анктиля о своем намерении и принес извинения в том, что не могу сопровождать его дальше. Сначала он пытался удержать меня с неожиданной любезностью, но затем охотно согласился на разлуку. Иахиль приняла эту новость не без огорчения; но, будучи от природы благоразумной, она поняла причины, по которым я решил ее покинуть.

В ночь перед моим отъездом, пока г-н д'Анктиль пил и играл в карты с костоправом-брадобреем, мы с Иахилью вышли на улицу, чтобы подышать воздухом. Все было напоено запахом травы, вокруг громко стрекотали кузнечики.

— Какая великолепная ночь, — сказал я. — В этом году, а быть может, и во всю жизнь не доведется мне пережить другой столь сладостной ночи.

Деревенское кладбище, все в зелени, раскинуло пред нами неподвижное море травы, и лунный свет серебрил могилы, разбросанные среди темных газонов. И обоих нас одновременно посетила мысль сказать последнее «прости» нашему другу. Место его вечного успокоения было отмечено одним только крестом, орошенным нашими слезами; основание креста уходило в мягкую землю. Камень, еще ожидавший эпитафии, не был установлен. Мы опустились на траву возле могилы и в безотчетном, естественном порыве бросились друг другу в объятия, зная, что не оскорбим своими поцелуями память друга, слишком мудрого, чтобы проявлять нетерпимость к человеческим слабостям.

Вдруг Иахиль, чьи губы касались моего уха, шепнула мне:

— Здесь господин д'Анктиль, он взобрался на кладбищенскую ограду и упорно глядит в нашу сторону.

— Неужели он видит нас в такой темноте? — усомнился я.

— Он наверняка видит мои белые юбки, — отвечала Иахиль. — И

этого, полагаю, достаточно, чтобы ему захотелось увидеть больше.

Я взялся за эфес, полный решимости защищать две жизни, которые в ту минуту были еще, можно сказать, слиты в одну. Спокойствие Иахили меня удивляло; ничто в ее движениях и голосе не выдавало страха.

— Ступайте, — приказала она, — бегите и не бойтесь за меня. Признаюсь, я даже рада, что Морис нас здесь застал. Он уже начинал остывать, и нет лучшего средства подогреть влечение и придать остроту любви. Ступайте, оставьте меня! Поначалу мне придется туго, ибо у него неистовый нрав. Он меня поколотит, но зато я стану ему еще дороже. Прощайте!

— Проклятье! — вскричал я. — Стало быть, вы воспользовались мною, Иахиль, чтобы распалить чувства моего соперника.

— Вот мило! Теперь и вы хотите со мной ссориться? И вы тоже? Ступайте, говорю вам.

— Неужели мы так и расстанемся?

— Так нужно, прощайте! Он не должен застигнуть вас здесь. Я намерена возбудить в нем ревность, но не столь грубо. Прощайте, прощайте!

Едва успел я сделать несколько шагов среди лабиринта могил, как г-н д'Анктиль подошел совсем близко и узнал свою любовницу; он разразился бранью и проклятьями, способными разбудить всех мертвецов деревни. Я твердо решил спасти Иахиль от его гнева, ибо боялся, что он ее тут же и убьет. Скрываясь в тени каменных плит, я уже пополз было к ней на помощь. Несколько минут я внимательнейшим образом наблюдал за ними и вот увидел, как г-н д'Анктиль вытолкнул ее за ворота кладбища и потащил на постоянный двор Голара, не остыв еще от ярости, которую Иахиль, однако, была в силах утишить одна, без посторонней помощи.

Когда они вошли в свою комнату, я тоже проскользнул к себе. Всю ночь я не сомкнул глаз и на заре, откинув краешек занавески, увидел, как они пересекли, двор; между ними установилось, по-видимому, полное согласие.

Отъезд Иахили усилил мою скорбь. Я бросился ничком на пол посреди комнаты и, закрыв лицо руками, проплакал до самого вечера.

* * *

С той поры жизнь моя утрачивает интерес, который придавали ей особые обстоятельства, и существование мое, вновь придя в полное согласие с моим характером, уже не представляет ничего необыкновенного. Вздумай я продолжать свои записки, повесть моя непременно показалась бы вам бесцветной. Поэтому завершу ее немногими словами. Валларский священник снабдил меня рекомендательным письмом к некоему виноторговцу в Маконе, у которого я пробыл в услужении два месяца, после чего батюшка известил меня, что дело мое улажено и я могу безбоязненно воротиться в Париж.

Тотчас же приобрел я место в почтовой карете и совершил обратное путешествие в обществе новобранцев. Сердце мое неистово заколотилось, когда я вновь узрел улицу св. Иакова, башенные часы на церкви св. Бенедикта Увечного, вывеску «Три девственницы» и лавку г-на Блезо «Под образом св. Екатерины».

Матушка, увидя меня, разрыдалась; прослезился и я, и, бросившись друг другу в объятия, мы еще поплакали вместе. Батюшка, спешно воротившийся из «Малютки Бахуса», сказал мне с важностью, за которой прятал волнение:

— Не скрою, Жако, я сильно разгневался на тебя, когда стражники явились к нам в харчевню за тобой; а в случае твоего отсутствия они собирались увести меня самого. Они ничего не желали слушать, утверждая, что объясниться я смогу и в тюрьме. Разыскивали тебя, сынок, по жалобе господина де ла Геритода. Я невесть что вообразил о твоём беспутстве. Но, узнав из твоих писем, что речь идет о сущих пустяках, я только и думал, как бы нам вновь свидеться. Много раз совещался я с содержателем «Малютки Бахуса» о том, какими путями замять это дело. Он всякий раз отвечал мне: «Мэтр Леонар, отправляйтесь-ка к судье да прихватите с собой добрый мешок со звонкой монетой, и он возвратит вам сынка белее снега». Но деньги у нас не водятся, и нет в нашем доме ни курицы, ни гусыни, ни утки, что несет золотые яйца. Хорошо еще, если живность в наше время окупает расходы на дрова для очага. По счастью, твоя святая и достойная матушка возымела мысль отправиться к матери господина д'Анктиля; последняя, как нам стало известно, хлопотала за сына, которого разыскивали по тому же делу, что и тебя. Ибо проведал я, мой милый Жако, что ты напроказничал в компании с неким дворянином; душа у меня, сам

знаешь, тонкая, и я сразу почувствовал, какая честь выпала на долю нашего семейства. Итак, матушка твоя испросила аудиенцию у госпожи д'Анктиль в ее особняке, что в Сент-Антуанском предместье. Она опрятно оделась, будто к обедне, и госпожа д'Анктиль милостиво ее приняла. Твоя матушка, Жако, святая женщина, но она плохо знает светское обращение и сперва понесла околесицу. Она сказала: «Сударыня, в наши лета, кроме бога, нам остаются только дети». Разве так надо было говорить со знатной дамой, у которой еще водятся поклонники?

— Помолчите, Леонар, — вскричала матушка. — Что знаете вы о поведении госпожи д'Анктиль? И надо думать, я не так уж неловко взялась за дело, коль скоро дама мне ответила: «Будьте благонадежны, госпожа Менетрие; я стану хлопотать за вашего сына, так же как и за своего, уж положитесь на мое рвение». И вам отлично известно, Леонар, что не прошло и двух месяцев, как мы получили заверение в том, что наш Жако может возвратиться в Париж, ни о чем не тревожась.

Мы поужинали с отменным аппетитом. Батюшка спросил, намерен ли я оставаться на службе у г-на д'Астарака. Я отвечал, что после смерти славного моего учителя, которая навеки оставит меня безутешным, я отнюдь не желаю оказаться в обществе свирепого Мозаида и услужать дворянину, который расплачивается со своими людьми одними лишь прекрасными речами. Батюшка ласково предложил мне, как и прежде, вращать вертел.

— С недавних пор, Жако, — сказал он, — я доверил эту должность брату Ангелу; но он справляется с делом куда хуже, чем Миро, и даже хуже тебя. Не пожелаешь ли, сынок, вновь занять свое место на скамеечке возле очага?

Матушка моя, при всей своей простоте не лишенная здравого смысла, пожала плечами и заметила:

— Господину Блезю, владельцу книжной лавки «Под образом святой Екатерины», нужен приказчик. Должность эта, мой милый Жако, как раз по тебе. Нрав у тебя смирный, и держать ты себя умеешь. А ведь именно это и требуется, чтобы продавать священные книги.

Я тотчас же отправился к г-ну Блезю предложить свои услуги, и он определил меня к себе в лавку.

Несчастья прибавили мне благоразумия. Скромность моего занятия не отвращала меня, и я тщательно исполнял свои обязанности, действуя метелочкой и щеткой, к вящему удовольствию хозяина.

Я решил, что обязан нанести визит г-ну д'Астараку и в последнее воскресенье ноября после обеда отправился к великому алхимику. От

улицы св. Иакова до Саблонского креста расстояние не малое, и календарь не лжет, утверждая, что дни в ноябре короткие. Когда достиг я Руля, уже наступила ночь, и непроницаемая мгла окутала пустынную дорогу. В грустном раздумье шагал я во мраке.

«Увы! — думал я. — Вот уж скоро год с тех пор, как я впервые шел этой заснеженной дорогой в обществе доброго моего наставника, который покоится ныне в бургундской деревеньке, на пригорке, поросшем виноградом. Он уснул в надежде на вечную жизнь. Я не могу не разделять чаяния столь ученого и мудрого человека. Упаси меня боже хоть когда-нибудь усомниться в бессмертии души. Однако ж что скрывать? Ведь все, относящееся к грядущей жизни и к лучшему миру, принадлежит к области тех неуловимых истин, в которые веруешь, но которые не ощущаешь, ибо не обладают они ни вкусом, ни запахом и входят в тебя неприметно. Признаюсь, меня нимало не утешает мысль, что в один прекрасный день я снова свижусь в раю с господином аббатом Куаньяром. Ибо наверняка он будет неузнаваем, а речи его утратят ту приятность, какую придавали им обстоятельства земного существования».

Погруженный в эти размышления, я внезапно увидел перед собою огромное зарево, охватившее полнеба; туман вокруг меня словно порыжел, и в самом средоточии его полыхал огонь. Тяжелый дым перемешивался с промозгой сыростью. Я тотчас же со страхом подумал, что горит замок д'Астарака. Ускорив шаги, я тут же убедился, что опасения мои вполне справедливы. Из густого мрака выступил увенчанный крестом Саблонский холм, осыпaeмый искрами пламени, и почти сразу я увидел замок, все окна которого пылали будто в честь какого-то зловещего праздника. Маленькая зеленая калитка была выбита. По парку бродили какие-то тени и в страхе шептались меж собой, То были жители предместья Нельи, которых привело сюда любопытство, а равно и желание помочь. Несколько человек возилось у насоса, направляя струи воды на пылающее здание, но вода тут же обращалась в пар. Густой дым столбом поднимался над замком. Дождь искр и пепла обрушился на меня, и я вскоре заметил, что одежда моя и руки покрылись копотью, С горестью подумал я о том, что сажа, наполнявшая воздух, — это все, что осталось от множества великолепных книг и бесценных манускриптов, доставлявших радость доброму моему наставнику, все, что осталось и от рукописи Зосимы Панополитанского, над которой мы трудились совместно в самую возвышенную пору моей жизни.

Я присутствовал при кончине г-на аббата Жерома Куаньяра. На сей раз, думалось мне, сама душа его, светоносная и кроткая, обращалась во прах вместе с царицей всех библиотек. И я понял, что в эти минуты умерла

и часть моего существа. Поднявшийся ветер раздувал пожарище, и пламя завывало, словно пасть прожорливого зверя.

Заметив какого-то жителя Нейи, еще более закопченного, нежели я, и стоявшего в одном жилете, я осведомился, спасли ли г-на д'Астарака и его слуг.

— Никому не удалось вырваться из замка, — отвечал он, — кроме какого-то старого еврея, который убежал со свертками в руках в сторону болот. Он проживал во флигеле возле реки, и все ненавидели этого человека за его веру и за преступления, в которых его подозревали. Дети кинулись за ним вдогонку. Убегая от них, он упал в Сену. Его выудили оттуда уже мертвым, к груди он прижимал какую-то кабалистическую книгу и полдюжины золотых чашечек. Можете полюбоваться на него: вон он лежит на берегу в своем желтом балахоне, страшный, с открытыми глазами.

— Ах, он заслужил такую кончину своими злодеяниями, — отвечал я. — Однако эта смерть не возвратит мне лучшего из наставников, который пал от его руки. Но скажите: не видел ли кто-либо господина д'Астарака?

В ту самую минуту, когда задал я этот вопрос, я услышал, как один из людей, метавшихся среди пожарища, испустил отчаянный крик:

— Кровля рушится!

И тогда я с ужасом различил высокую темную фигуру г-на д'Астарака: пробираясь по краю крыши, алхимик кричал громовым голосом:

— Возношусь на крылах огня в пределы божественной жизни!

Едва произнес он эти слова, как кровля рухнула с ужасающим грохотом, и гигантские языки пламени поглотили верного почитателя саламандр.

* * *

Не существует на свете любви, которая устояла бы перед разлукой. Воспоминания об Иахили, поначалу мучительные, мало-помалу смягчились и оставили во мне лишь смутную боль; впрочем, не одна Иахиль была тому причиной.

Господин Блезе все больше старился. Он ушел от дел и поселился в своем деревенском домике, в Монруже, а лавку продал мне на условиях пожизненной ренты. Ставши вместо него полноправным книгопродавцем все с той же вывеской «Под образом св. Екатерины», я поселил у себя своих родителей, ибо харчевня наша с некоторых пор пришла в упадок. Во мне зародилась привязанность к скромному моему заведению, и я старался украсить его получше. По стенам я развесил старые венецианские карты и изречения, снабженные аллегорическими рисунками; спору нет, это придало лавке вид причудливый и старинный, но вместе с тем привлекло к ней истинных друзей знания. Образованность моя не слишком вредила торговле, тем паче что я тщательно ее скрывал. Куда больший вред принесла бы мне моя ученость, будь я не только книготорговцем, но и издателем вроде Марка-Мишеля Рея, то есть будь я вынужден зарабатывать себе на пропитание за счет человеческой глупости!

В своей лавке я держу, как принято выражаться, классических авторов, и этого рода пища в большом ходу на нашей высокоученой улице св. Иакова, чьи древности и примечательные особенности я бы с превеликой охотой описал на досуге. Первый парижский типограф основал здесь свою достославную книгопечатню. Господа Крамуази^[85], которых Ги Патен^[86] именует королями улицы св. Иакова, издали здесь труды корпорации историографов. Еще до того, как был основан Французский Коллеж^[87], королевские чтецы Пьер Данес, Франсуа Ватабль, Рамус выступали здесь с лекциями в сарае, куда доносилась брань носильщиков и прачек. И как не вспомнить Жана де Мена^[88], который в небольшом домике на этой же улице сочинил «Роман о Розе».^[89]

Я не нарадуюсь на свой дом старинной постройки; он восходит по крайней мере ко временам готическим, как можно заключить по деревянным балкам, которые скрещиваются над узким фасадом так, что верхний этаж выступает над нижним, а кровля с замшелой черепицей нависает над стенами. В каждом этаже всего по одному окошку. Верхнее окно во все времена года одето зеленью, весной перед ним по веревочкам

карабкаются вьюнки и настурции. Добрая моя матушка сажает и поливает их.

Это — окно ее комнаты, расположенное над вывеской «Под образом св. Екатерины». С улицы можно увидеть, как старушка читает молитвы по книге, напечатанной большими буквами. Почтенный возраст, благочестие и материнская гордость придают ей внушительную осанку, и, глядя на ее восковое лицо, окаймленное оборками белоснежного чепца, всякий наверняка решит, что это богатая горожанка.

Батюшка к старости также приобрел важные повадки. Он любит свежий воздух и прогулки, и поэтому я поручаю ему относить книги на дом покупателям. Сперва эту обязанность выполнял брат Ангел, но он кланчил милостыню у моих клиентов, уговаривал их прикладываться к реликвиям, воровал у них вино, тискал их служанок и добрую половину книг оставлял в сточных канавах. Я скоро отказался от его услуг. Но славная моя матушка, которую он умел уверить, будто ему ведомы тайные пути в рай, кормит и поит его. Человек он неплохой и в конце концов внушил и мне своего рода привязанность.

Несколько выдающихся людей и немало ученых посещают мою лавку. Великое преимущество моего занятия как раз в том и состоит, что я каждодневно вступаю в общение с людьми достойными. Среди тех, кто нередко заходит ко мне полистать новые книги и запросто побеседовать меж собой, встречаются историографы, столь же ученые, как Тильмон^[90], ораторы-проповедники, способные соперничать в красноречии с Боссюэ и даже с Бурдалу^[91], комические и трагические пииты, богословы, у которых чистота нравов соединяется с непоколебимой верностью доктрине, почтенные сочинители рыцарских романов, геометры и философы, кои, по примеру г-на Декарта, способны измерить и взвесить миры. Я восторгаюсь ими и упиваюсь их словом. Но ни один, по моему разумению, не может сравниться знаниями и талантом со славным моим учителем, которого я имел несчастье потерять на Лионской дороге; ни один не может похвастаться таким несравненным изяществом мысли, таким кротким и возвышенным нравом, таким удивительным богатством души, вечно распахнутой навстречу людям и струящей аромат подобно установленным в садах мраморным урнам, из которых, не иссякая, струится вода; ни один не способен возратить мне тот вечный источник знаний и нравственности, из коего посчастливилось мне утолять духовную жажду в дни юности; ни один не обладает даже тенью того обаяния, той мудрости, той силы мысли, которыми блистал г-н Жером Куаньяр. Его я почитаю одним из самых

приятных умов, какие когда-либо украшали нашу землю.

Комментарии

«Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения господина "Жерома Куаньяра» были созданы во второй половине 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия. Анатоль Франс приближался к своему пятидесятилетию, имея за собой четверть века литературной работы. Романы «Преступление Сильвестра Бонара» и «Таис» принесли ему широкую известность. В течение тринадцати лет (1883—1896) он писал очерки из парижской жизни для журнала «L'Univers illustre», в течение семи лет вел отдел литературной критики в газете «Temps» (1886—1893). Сотрудничество в периодической печати вовлекло Франса в водоворот общественно-политической и литературной жизни.

Эпикурец-скептик, антиклерикал, поклонник античности, писатель, в начале творческого пути близкий к литературной группе «парнасцев», Анатоль Франс до конца 80-х годов стоял в стороне от передовых общественных движений своего времени.

Общественно-политическая борьба во Франции на рубеже 80-х и 90-х годов разбудила во Франсе писателя-борца, определила его идейную эволюцию влево.

Хотя этот поворот Франса совершился в конце 90-х годов, уже после написания книг о Куаньяре, все же в них ярко отразилась начавшаяся ломка мировоззрения художника, который, освобождаясь от буржуазных предрассудков и убеждений, пришел в конце концов в лагерь демократии и социализма.

«Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения господина Жерома Куаньяра» открывают новый, второй период в творчестве Анатоля Франса. Для этого периода характерно прежде всего выдвигание на первый план жанров обличительных (философский роман, сатирический роман, сатирическая новелла); одним из важнейших средств разоблачения буржуазной действительности становится публицистика, которая у Франса представлена не: только в виде самостоятельного жанра (статьи, речи, памфлеты), но и составляет органический элемент его новелл и романов, пронизывает их от начала до конца. Лучшие произведения Франса этого периода обращены к современности, построены на актуальной социально-политической проблематике, которая — это следует специально подчеркнуть — вторгается и в изображение прошлого, в частности в книги о Куаньяре.

В книгах о Куаньяре нетрудно найти следы прямого влияния философских повестей Вольтера. Французский критик Э. Фагэ не случайно заметил, что «Харчевню» мог написать лишь человек, знающий «Кандида» наизусть.

Философская художественная проза служит у Франса целям критики современной ему социальной действительности; писатель выносит здесь обвинительный приговор государственной машине классового общества, колониальной политике, бесчеловечности буржуазного суда, ханжеской буржуазной морали. Под видом борьбы со средневековой схоластикой, аскетизмом и мракобесием писатель выступает против реакционной идеологии конца XIX в., утверждает веру в разум и любовь к жизни. Именно острый социальный критицизм Франса имел в виду М. Горький, когда писал по поводу бесед в «Харчевне королевы Гусиные Лапы»:

«Всегда все то, о чем рассуждал аббат Куаньяр, о чем говорили у «Королевы Педок», обращалось в прах, обнажая непрочные, часто уродливые каркасы бумажных истин».

Роман «Харчевня королевы Гусиные Лапы» был закончен в сентябре 1892 г. и с 6 октября по 2 декабря печатался в газете «Echo de Paris». Отдельным изданием он вышел 22-марта 1893 г. у книгоиздателей Кальман-Леви.

Рукопись романа показывает, что действие в нем сперва датировалось 60-ми годами XVIII в., но в последней редакции было приурочено к 20-м годам XVIII в., то есть к начальному этапу просветительского движения с его свободомыслием, рационализмом и нарастающим критицизмом по отношению к феодальной действительности. И хотя среди основных персонажей книг о Куаньяре нет ни одного исторического лица, исторический колорит в них передан правдиво. Перед глазами читателя проходят типические фигуры эпохи: откупщик де ла Герптод, один из столпов абсолютизма, построивший свое благополучие на ограблении народных масс; алхимик-маньяк барон д'Астарак, блуждающий во мраке кабалистики и магии; воин-забулдыга дворянин д'Анктиль; памфлетист Жан Гибу, только что вышедший из Бастилии, работающий над планом республики по античному образцу; корреспондент голландских издателей Николя Сериз, который, следуя духу раннего Просвещения, приходит к мысли, что природа не религиозна и часто вовсе не ведает своего господя; монах-капуцин Ангел, пьяница и гуляка, торгующий поддельными церковными реликвиями; тонко очерченный тип мелкого собственника, содержателя харчевни Менетрие и т. п.

Дух идейных брожений раннего Просвещения запечатлен в образе

главного героя аббата Куаньяра. При всей яркости картин, воспроизводящих нравы эпохи, основное внимание в книге уделено беседам, спорам и в — первую очередь — высказываниям Куаньяра.

Аббат Жером Куаньяр словно перешел в роман Франса с полотен фламандских мастеров: поношенная, со следами частой штопки сутана, разбитые в кабацкой драке очки и разорванная при подобных же обстоятельствах шляпа.

Франс далек от схематизма и прямолинейной идеализации своего положительного героя-гуманиста и при описании его поведения в жизни не умалчивает о его слабостях: аббат любит выпить и закусить, крадет у д'Астарака алмазы (оказавшиеся, правда, поддельными), при случае может разбить бутылку о голову своего противника-финансиста де ля Геритода. Но эти слабости никак не могут затмить острый критический ум Куаньяра, его ученость, добросердечие, присущее ему чувство юмора. Все это вместе взятое ставит героя на землю, раскрывает его образ правдиво и многогранно.

Аббат не раз заявляет о своей верности учению христианской церкви, но делает это больше из осторожности; он то и дело тонко иронизирует по этому поводу. Франс, отнесший действие романа к 20-м годам XVIII в., не изменил художественной правде: воинствующий антиклерикализм Вольтера, атеизм славной плеяды французских материалистов во главе с Дени Дидро были явлениями более позднего этапа Просвещения. Но разве не предвещают в какой-то мере этой фронтальной критики религии и церкви, разве не отдают насмешкой над религией куаньяровские замечания о том, что бытие божие доказывается сцеплением причин и следствий, приведших его, Куаньяра, к любовному свиданию с девушкой на сеновале, что «блохи... как и все прочее в мире, являются великой тайной божией», что капуцин Ангел выдает им же самим обглоданные кости за церковные реликвии? Подобных выпадов против церкви в речах Куаньяра немало. Они свидетельствуют о том, что под внешним, условным благочестием аббата таится всеразъедающее сомнение, распространяющееся и на церковь и на религию. Это заметил уже современник Франса, литературный критик Жюль Леметр, определивший новую книгу Франса как «самый полный молитвенник скептицизма со времен Монтеня».

Еще ближе подходит Куаньяр к идеологам зрелого Просвещения в критике социальной действительности. Он совершенно свободен в своих мыслях о политике, праве, науке, морали. Здесь его ничто не связывает, и он высказывается напрямик. Подобно просветителям, он подвергает переоценке с точки зрения разума социальные институты, причем не только

феодалного, но и буржуазного общества. Однако это уже преимущественно Куаньяр второй книги, носящей заглавие «Суждения господни Жерома Куаньяра».

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

СНОСКИ

1

Эти слова написаны во второй половине XVIII века. (Прим. издателя.)

Розенкрейцеры — члены одного из тайных религиозно-мистических масонских обществ (XVII—XVIII вв.).

Как раз это мнение высказывает аббат Монфокон де Виллар в небольшой книжке под названием: «Граф Габалис, или Разговоры о тайных и чудесных науках, в согласии с началами древних магов или мудрецов-кабалистов». Книга выдержала множество изданий. Ограничусь указанием на то, что вышло в Амстердаме (у Жака Ле Жен, 1700 год, in 18°, с картинками); оно содержит вторую часть, которая в первоначальном издании отсутствует. (Прим. издателя.)

Ролан Шарль (1661—1741) — французский историк и педагог.

...изображала нашего усопшего государя... — Имеется в виду Людовик XIV, умерший в 1715 г.

Феокрит (III в. до н. э.) — греческий поэт эпохи эллинизма, автор «Идиллий».

...преступить правила, преподанные святым Франциском. — Неуплату за вино брат Ангел хочет оправдать авторитетом Франциска Ассизского, учредителя монашеского ордена францисканцев (1208), члены которого должны были давать обет нищеты.

... французской речи, над усовершенствованием коей немало потрудились Вуатюр и Бальзак. — Венсан Вуатюр (1598—1648) и Гез де Бальзак (1594—1654) — французские писатели, оба были членами Французской академии и участвовали в составлении словаря французского языка.

...сей юный вертеловерт, сей Жако Турнеброш... — Прозвище «Турнеброш» образовано от франц. tourner — вращать и broche — вертел. Жако — простонародная форма имени Жак; ниже встречается его латинизированная форма «Якобус».

...князьями вакхической поэзии Анакреоном и Шолье. — Шолье Гийом (1639—1720) — французский поэт, автор многочисленных анакреонтических стихотворений.

...риторика возвысила Евгения до императорского сана... — Евгений — галльский ритор, провозглашенный римским императором в 392 г.

Тому примером крот (лат.)

...по примеру Ипполита и Беллерофонта испытал на себе, что значит женское коварство и злоба. — Ипполит погиб по наговору влюбившейся в него мачехи Федры; Беллерофонт был оклеветан полюбившей его Антией за то, что не ответил ей взаимностью (антич. миф.).

Ульрих фон Гуттен (1488—1523) — немецкий гуманист, один из авторов сатиры «Письма темных людей» (1515—1517), направленной против средневековой схоластики и мракобесия.

Боэций Аниций (480—524) — римский философ-неоплатоник, автор религиозно-этического сочинения «Об утешении философией».

Кассиодор Аврелий (ок. 490 — ок. 575) — видный писатель и политический деятель королевства остготов.

... Эпиктет был рабом, а Пиррон— садовником. — Эпиктет (ок. 50 — ок. 138) — римский философ-стоик. Пиррон (ок. 365— 275 до н. э.) — древнегреческий философ-скептик.

...вдохновить господина Лесажа и ярмарочных сочинителей... — Лесаж Ален-Ренэ (1668—1747) — французский драматург и романист, был автором многочисленных пьес для народного ярмарочного театра.

...с помощью примеров, позаимствованных из жизнеописания Зенона.
— Зенон из Китиона — см. прим. к стр. 207.

Благословите (лат.). — Название молитвы.

Анри Этьен — французский гуманист XVI в.

«Сон Сципиона» — эпизод из сочинения Цицерона «О государстве».

Разве вы ничего не слышали о Гермесе Трисмегисте и об «Изумрудных таблицах?» — Гермес Трисмегист — вымышленный автор философского учения греко-египетского происхождения, изложенного в «Герметических книгах» (ок. III в.); считался создателем наук и искусств и основателем алхимия. Ему приписывались «Изумрудные таблицы», текст, в котором средневековые алхимики видели аллегорическое описание философского камня.

Не словами она делает это; ликом своим, нежными руками и белокурыми кудрями покоряет наша девушка (лат.).

Климент Александрийский (ум. ок. 215) — наставник христианской школы в Александрии, один из «отцов церкви».

...чадам Девкалиона... —то есть людям (см. прим. к стр. 140).

...во времена Генриха IV. — Генрих IV — французский король с 1594 по 1610 г.

...бродить по волшебным склонам Тускулума... —Речь идет о загородном поместье Цицерона, расположенном в окрестностях древнего города Тускулума, близ Рима. Отсюда название труда Цицерона, в котором изложена его нравственная философия, — «Тускуланские беседы» (написан в форме бесед с друзьями).

Изида — египетская богиня плодородия.

Книга Еноха — одна из апокрифических библейских книг.

...в склепах великой пирамиды, где читал книги Тота. — Тот — древнеегипетское божество, которому приписывались сорок две священных книги на египетском языке.

Когда лорд Веруламский ... явился в палату в качестве подсудимого..
— Имеется в виду Френсис Бэкон, герцог Веру-ламский (1561—1626), английский философ-материалист, автор «Нового органа»; он был смещен с должности канцлера по обвинению во взяточничестве.

«Новый органон» (лат.).

... мелодии Ламбера и Люлли... — Мишель Ламбер и Жан-Батист Люлли — французские композиторы XVII в.

Даже пребывание в полях Елисейских, воспетых Вергилием... — Елисейские поля — в античной мифологии местопребывание душ умерших. Вергилий говорит о Елисейских полях в IV книге «Энеиды».

Ойкуменическая — всеобщая (от греч. «ойкумена» — совокупность всех областей на земном шаре, заселенных человеком).

...творение Зосимы Панополитанского... которое я... обнаружил в гробнице некоего жреца Сераписа. — Зосима Панополитанский (середина III в. — начало IV в.) — александрийский ученый, считался одним из основателей алхимии; храм Сераписа в Александрии был центром тогдашней учености.

...со времен царствования неуча Феодосия, прозванного Великим. — Феодосий — римский император (379—395), прозванный церковью Великим за поддержку христианства против язычества.

...отправиться на Сен-Жерменскую ярмарку посмотреть Леандра... — Леандр — тип влюбленного молодого щеголя, повторяющийся во многих французских комедиях.

Пейреск Николь-Клод (1580—1637) — советник парламента во французском городе Экс, славившийся своей эрудицией, коллекционер и меценат.

Гностики — см. прим. к стр. 211. — Василид и Валентин,

Олимпиодор (VI в.) — александрийский ученый и философ-неоплатоник. Фотий (IX в.) — византийский церковный писатель, возглавлял борьбу против римской церкви и дважды занимал патриарший престол в Константинополе.

Манефон (III в. до н. э.) — египетский жрец, автор исторических трудов.

Мандрагора — растение, которому в средние века приписывали волшебные свойства.

Масхора... Мишна... — иудейские религиозные книги, входящие в состав Талмуда и дающие толкование библии.

Иосиф Флавий (I в.) — иудейский историк.

Аристарх Самосский (III в. до н. э.).— греческий астроном, пришедший к мысли о вращении земли вокруг солнца.

Тюрнеб (настоящее имя Адриен Турнебю, 1512— 1565) — французский ученый-эллинист.

Скалигер Жозеф-Жюст (1540—1609) — один из крупнейших филологов своего времени, ученик Тюрнеба.

...совершенства, уже достигнутого в области физической красоты Антиноем и госпожой де Парабер... — Антиной — раб и любимец римского императора Адриана (I—II вв.); его юношеская красота вошла в поговорку и была запечатлена многими художниками античности. Маркиза Мари-Мадлена де Парабер (1698—1723) — знаменитая в свое время красавица, любовница французского принца-регента Филиппа Орлеанского.

Таково происхождение гигантов, о которых нам повествуют Гесиод и Моисей. — Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор «Теогонии», поэмы, в которой излагается родословная богов; Моисею легенда приписывала авторство одной из книг библии («Книги Бытия»), где рассказывается о сотворении мира.

...происхождение Пифагора... появился на свет с золотым бедром. — В древности действительно существовала легенда, что у греческого философа Пифагора (VI в. до н. э.) было золотое бедро.

Убежище (точнее: «Убежище для бездомных и распутных женщин») — женский каторжный дом, учрежденный в Париже в 1684 г.

Менес — согласно легенде первый царь Египта.

...если бы апостол Петр... не предал бы Христа. — По евангельской легенде, апостол Петр был первым, кто признал Христа, и тот сказал ему: «Ты, Петр, камень, и на сем камне я построю церковь свою». Но он же предсказал, что Петр предаст его, прежде чем прокричит петух. И действительно, в трудную минуту Петр трижды отрекся от своего учителя, в чем впоследствии горько каялся и был прощен Христом после его воскресения.

...сей мерзкий Мардохей приходится дядей сей Эсфири...— Эсфирь, по библейской легенде, — красавица иудейка, воспитанница Мардохея, выбранная в жены персидским царем.

Я служил под началом господина Вилляра, я принимал участие в войне за наследство... — «Война за испанское наследство» (1701—1704), в которой французский король Людовик XIV выступил с агрессивными притязаниями на престол Испании и ее владения, окончилась поражением Франции. Виллар Луи-Гектор — маршал, командовавший в этой войне французскими войсками в Италии.

Шуази Франсуа-Тимoleon (1644—1724) — французский писатель, аббат; он действительно до тридцатилетнего возраста носил женское платье.

Так сказал Аврааму и потомству его вовеки (лат.).

Фонтенель Бернар (1657—1757) — французский писатель и ученый, автор «Бесед о множественности миров».

Адонис — прекрасный юноша, возлюбленный Венеры (ан-тич. миф.).

Агнеса Сорель — фаворитка французского короля Карла VII (1403—1461).

Николь Жиль (ум. 1503) — французский летописец.

Паскье Этьен (1529—1615) — французский историк.

... проклятие, коим Елисей проклял чад... — Согласно библии пророк Елисей проклял деревенских детей, дразнивших его «плешивым», и их растерзали медведи.

Варух — по преданию, автор неканонической библейской «Книги пророка Варуха».

Иезекииль — один из библейских пророков, ему приписывается книга Ветхого Завета, названная его именем, полная фантастических видений и мистических символов.

Кревьє Жан-Батист-Луи (1693—1765) — французский историк и филолог.

«Что пользы человеку от трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (лат.)

Куперен Франсуа (1668—1733) — французский композитор.

И исполнил моления их (лат.).

...одного из тех мудрецов, которые изображены в «Телемаке»... — Имеется в виду дидактический роман «Приключения Телемака» (1695), написанный предшественником просветителей Франсуа Фенелоном (1651—1715) для своего воспитанника, французского наследного принца, и содержащий критику абсолютизма.

Семирамида — полуполегендарная царица Ассирии.

Олимпиада — мать Александра Македонского.

Пиндар (522 или 518 — ок. 422 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных од.

И помните, что случилось с аббатом Вилларом... — Аббат Виллар (аббат де Монфокон, 1635—1673) — французский проповедник и литератор; он действительно был убит по дороге в Лион, как и герой романа, аббат Куаньяр. В романе Франса использованы некоторые детали из книги Виллара «Граф де Кабали, или Беседы о тайных и чудесных науках по принципам древних магов и мудрых кабалистов».

Галан Антуан (1646—1715) — французский ученый-ориенталист, переводчик сказок «1001 ночи».

Амфион — по древнегреческому мифу, поэт, под звуки лиры которого будто бы камни сами сложились в стену, окружавшую город Фивы.

Апокалипсис (греч. «Откровение») — часть Нового Завета, в которой рисуется страшная картина бедствий, предстоящих миру перед пришествием Антихриста.

Оплот наш — имя господне... Господи, услышь молитву мою.... (лат.).

Мир дому сему (лат.).

И всем обитателям его (лат.).

Се агнец божий, что принял на себя грехи человеческие (лат.).

Шапель Клод-Эмманюэль (1626—1686) — французский поэт.

Крамуази — французские типографы XVII в.

Ги Патен — французский писатель и медик XVII в.

Французский Коллеж — высшее учебное заведение, учрежденное в Париже в 1530 г.

Жан де Мен — французский поэт, один из авторов аллегорического «Романа о Розе» (XIII в.).

Жак Турнеброш не знал, что на улице св. Иакова, возле монастыря св. Бенедикта, в доме, получившем прозвище «Дом с зелеными воротами», проживал Франсуа Вийон.

Ученик г-на Жерома Куаньяра, без сомнения, с охотой упомянул бы о старинном поэте, который, как и сам он, знал множество разных людей. (Прим. издателя.)

Франсуа Вийон — крупнейший поэт средневековья во Франции, связанный с городскими низами (XV в.).

Тильмон Себастьян (1637—1698) — французский ученый, автор трудов по истории церкви.

Бурдалу Луи (1632—1704) — иезуит, придворный проповедник Людовика XIII.